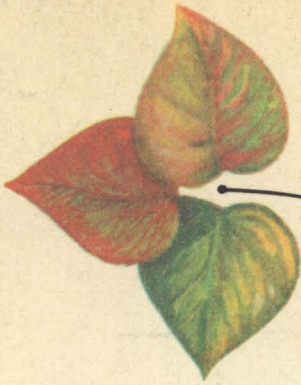


ISSN—0130—8491



40
1984
ПОЭЗИЯ
АЛЬМАНАХ

ПОЭЗИЯ ● 1984





40

АЛМАНАХ

ПОЭЗИЯ

1984

84(0)6
П 67

РЕДАКТОР Николай СТАРШИНОВ

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Зайцев Г. В., Куняев С. Ю., Львов М. Д., Олейник Б. И.,
Осетров Е. И., Старшинов Н. К., Фокина О. А.

П 4701000000—012 — 205—84
078{02}—85

© Издательство «Молодая гвардия», 1985 г.

40
АЛЬМАНАХ

1984
ПОЭЗИЯ



МОСКВА
„МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ“
1984



СОДЕРЖАНИЕ

МАСТЕРСКАЯ		Валерий Латынин	93
Валентин Осипов. «Пишите о главном...»	6	Надежда Солнцева	95
Ярослав Смеляков	7	Марина Безденежных	98
		Алексей Супонев	100
		Нина Шевцова	102
		Аркадий Сергеев	104
ВСЕГДА В СТРОЮ		НАШ КАЛЕНДАРЬ	
Вадим Попов	21	Александр Казинцев, Нина Казинцева. Автор двух поэм . . .	106
Владимир Рудим	23	МАСТЕРСКАЯ	
Михаил Тимошечкин	26	Владимир Греков. Движение добра	118
Анатолий Абрамов	29	Иван Аксаков. Письмо Ф. В. Чи- жову	120
Борис Тедерс	31	СТАТЬИ	
Герман Гоппе	35	Лев Смирнов. После первой книги	126
Иван Петрухин	37	Валентина Мальми	133
Николай Зусик	38	Наталья Бусыгина	136
Николай Стрельников	41	Евгений Чепурных	138
ИМЕНА НА ПОВЕРКЕ		НАШИ ПУБЛИКАЦИИ	
Хазби Калоев	44	Илья Эренбург	142
ВСЕГДА В ПУТИ		СТАТЬИ	
Александр Жаров	48	Ирина Шевелева. «И в отчество — Отечество дала...»	145
Владимир Радкевич	51	Виктор Дронников	153
Эдуард Бабаев	54	Валентин Кузнецов	155
Вадим Шефнер	57	Александр Гевелинг	158
Федор Сухов	59	Марат Тарасов	159
Александр Балин	61	ВСЕГДА В ПУТИ	
Глеб Горбовский	66	Вячеслав Молодяков	162
Михаил Квливидзе	68	Михаил Шевченко	165
Виктор Парфентьев	73	Татьяна Шеханова	167
Сергей Мнацаканян	75		
Александр Бобров	79		
МАСТЕРСКАЯ			
Михаил Львов. В поисках «рецеп- тов» жизни и стиха	82		
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА			
Святослав Педенко. «О, сорока- белобока, научи меня летать...»	89		

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Щуплов	169	ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ	
Виктор Гаврилин	172	Маргарет Этвуд	207
Алексей Титов	175	Робер Деснос	209
Геннадий Румянцев	177		
Геннадий Могилевцев	179		
НАШ КАЛЕНДАРЬ		СТАТЬИ	
		Михаил Кудинов. История одной литературной пародии	212
Виталий Зверев. «Певец печали и страстей...»	182	ПАРНАС, ПЕГАС И КОЕ-ЧТО ПРО НАС	
Александр Полежаев	194	И р о н и ч е с к а я п о э з и я	
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ		Сергей Безлюдский	215
Анатолий Иванов. Питерский тру- бадур	197	Владимир Ведякин	216
Саша Черный. О Петре Потем- кине	199	П а р о д и и	
Петр Потемкин	202	Александр Матюшкин-Герке	217
		Ефим Самоварщиков	217

мастерская

«ПИШИТЕ О ГЛАВНОМ...»

(Я. В. Смеляков о молодой поэзии)

Общеизвестно, что Ярослав Смеляков щедро отдавал литературной молодежи свой большой поэтический опыт и многогранные умения поэтического наставника.

Можно вспомнить немалое число его статей, докладов и выступлений, что были итогом участия в роли творческого руководителя в различных всесоюзных и региональных совещаниях и семинарах молодых писателей.

Можно вспомнить, как много осуществлено им для становления молодых, для их публикаций на посту руководителя объединения московских поэтов и члена редколлегии альманаха «Поэзия», «Библиотечки избранной лирики», редсовета издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».

Можно вспомнить, что именно он напутствовал (публично — в прессе или — рекомендациями, отзывами, рецензиями для журналов и издательств) многих ныне известных писателей, проницательно разглядев по первым книгам их литературную будущность. Среди них, к примеру, М. Дудин, М. Лисянский, Е. Винокуров, Вл. Солоухин, поэты помоложе — Н. Анциферов, Н. Дамдинов, А. Дементьев, О. Дмитриев, И. Драч, Р. Казакова, В. Костров, А. Преловский, Р. Рождественский, В. Савельев, В. Соколов, В. Фирсов, О. Фокина, В. Цыбин, Ф. Чуев...

Отметим также и то, что он оставил яркий след своего отношения к юным коллегам и в собственном поэтическом творчестве. Это, вспомним, стихотворения «Мальчишки», «Приезжают в столицу...», «Мальчики, пришедшие в апреле...».

В свои 19 лет и в год первой своей книги (1932 г.) он выступил с таким вот манифестом:

Но если увижу, что взятые с бою
Стихи, проводившие ночи со мною,
Стране не нужны, не ведут, не горят,
Но если уверюсь в молчанье строки,
Я твердым пожатем дрожащей руки
Стихи задушу, как паршивых щенят,
Покончу с стихом, как кончали с собою.

42 года творчества, уверен, лишь развивали и совершенствовали этот ничуть не растраченный принцип, с которым он входил в литературу,

гордясь званием типографского фабзайца и принадлежностью к рабочей комсомольской ячейке.

Верность такому четкому кредо явственна, пожалуй, в каждой строчке лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. В том числе и в той части творческого наследия, что обращал он к юным своим коллегам.

К сожалению, множество его конкретных напутствий, советов, рекомендаций, критических выводов и замечаний остается пока еще рассеянным по различным газетам и журналам или вовсе не опубликовано. Сам поэт так и не удосужился собрать в одну книгу то, что написал о молодой поэзии и для молодых поэтов. (Около 30 его статей и заметок все-таки было собрано и вошло в собрание сочинений.)

Уверен, что осуществленные мною некоторые извлечения из прессы и домашнего архива поэта явятся полезными и нынешнему поколению литературной молодежи.

Валентин ОСИПОВ

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

1959 год. Из выступления перед студентами Литературного института имени А. М. Горького

...Вероятно, у каждого из нас, пишущих, бывают раздумья о том, что такое индивидуальность поэта, язык поэта, каково его место в общем строе.

Будучи совсем юношей, я думал, что свой поэтический почерк, свой стиль возникает в результате сознательных специальных усилий: надо что-то такое свое придумать, или по-своему рифмовать, или свой ритм вырабатывать, свою систему выдумывать,— иными словами «выдумывать» свою оригинальную личность.

Позднее я увидел, что люди, идущие по этому пути, не только не стали талантливыми, но совсем не стали поэтами. А стали поэтами те, кто имел совсем другие установки, кто внимательно и серьезно всматривался в действительность, кто имел свой индивидуальный жизненный опыт, свои идеи. Те, кто стремился наиболее ясно выразить своими словами эти свои мысли и свои идеи,— не гнались за оригинальностью, за непохожестью. И благодаря этому человеческому качеству, качеству своего характера, рождавшему характер тем; благодаря личному вкусу, который приводил к возникновению именно своих эпитетов; благодаря технической оснащенности, которая позволяла не сосредоточивать все силы главным образом на поисках рифмы и вместе с тем уводила от проторенных путей,— эти люди стали более или менее самостоятельными поэтами.

...Есть отдельные молодые поэты, стихи которых мне непонятны. Если молодой поэт пишет, рассчитывая только на очень тонких людей, если я должен докапываться до смысла — то зачем мне нужно такое стихотво-

рение? Я не понимаю закономерности его существования на земле. Как упражнение, как эксперимент ученика оно может существовать, но как произведение, претендующее на публикацию, на передачу со сцены или по радио, оно для меня не имеет никакой ценности.

...Я считаю, что человек, пишущий стихи, ставит перед собою задачу возможно большему количеству людей рассказывать о том, что его волнует, с возможно большей силой убедить их в правильности своих мыслей или своих идей, увлечь их за собой. Значит, он должен быть абсолютно ясным и возможно более простым и стараться с наибольшей силой, с наибольшим талантом выразить свои чувства и мысли, но так выразить, чтобы поэтический прием не выпирал на первое место, а чтобы все было подчинено именно идее и чувству. Если человека и его душу действительно обуревают идея или чувство, он будет стараться во что бы то ни стало довести их до читателя, будет стремиться к простоте и ясности. Это для меня закон, мерило стихотворения.

...Читая множество рукописей молодых поэтов, в том числе и студентов Литинститута, я нередко вынужден констатировать, что у некоторых поэтов своеобразие языка выражается в том, что он очень ограничен лексически. К сожалению, это касается не только молодых. Мне известен переводчик, который переводит прекрасно, если стихотворение на 20 строк, на 30 — тоже ничего, но если на 700 — плохо, потому что он располагает пятью-шестью присущими ему оборотами, и то, что незаметно на протяжении одного короткого стихотворения, то на больших пространствах бросается в глаза. Он вынужден повторять одни и те же слова, одни и те же эпитеты, одни и те же обороты речи. Это — беда, которая есть у многих.

...Я ознакомился с рукописями студентов Литинститута. Мне понравились некоторые стихи М-ко *. Он, очевидно, из рабочих, из моряков, судя по стихам. Весь словарь грубоватый, в хорошем смысле мужской, без сентиментальностей. И вдруг в стихотворении «Сапун-гора» он пишет о тумане, что наносит горе предрассветный визит. Какой «предрассветный визит» к Сапун-горе, когда рвутся снаряды и солдаты идут в бой? Слово разительно выпадает из мысли, из идеи стихотворения!

...Мне особенно понравилась цельность дипломной работы студента Н. Анциферова. Понравилась рабочая тема. Это очень немаловажно. Рабочая тема советской поэзии — это самое главное, над чем мы должны думать. Это же несправедливо и противоестественно, что в стране, основой которой является рабочий класс, совершающий столько интересного, — что у нас мало стихотворений на эту тему! Кипарисы и клестов мы успеваем схватить в поле своего зрения, а рабочий класс показать не успеваем. И то, что вся книжка Анциферова посвящена шахтерской теме и выбрана эта тема не понаслышке, а потому, что она органичная и коренная его тема, — все это хорошо вообще. Хорошо без скидок.

...У студента П-ва идут недостатки от излишней увлеченности своим умением, от желания сказать как-нибудь не просто, а с ужимкой.

* Анонимность многих имен, упоминаемых Я. Смеляковым в этой и в некоторых других записях, по вполне понятным причинам внесена составителем этой подборки.

Если самой главной задачей поэт считает необходимость выразить наиболее определенно, точно и безусловно свою мысль и свое отношение к людям, то тогда та или иная рифма нужна ему только как элемент подсобный, помогающий полнее донести свою мысль.

Вот некоторые, не самые разительные, но все равно убедительные примеры, показывающие, что человек, желая сказать красиво и оригинально, теряет свою мысль, и она становится даже прямо противоположной той, которую он хотел выразить. Например — «Девушка в метро»:

Но ты простая —
Ты чета
Всем этим людям некрасивым.
И каждая твоя черта
Чиста и набрана курсивом

Здесь для поэта центром притяжения явились рифмы «черта» и «чета», «красивая» и «курсивом». Он не заметил, что у него все, кто идет в метро, это люди некрасивые, то есть человечество некрасивое. Это ли хотел сказать поэт? Я — старый работник типографии и как-то особенно анализирую все эти рифмующиеся строки. Что такое курсив? Это шрифт, который копирует рукописный. Почему черты лица набраны курсивом, а не академическим, полужирным или гротесковым шрифтом?

...Сейчас появилось очень много стихотворений о природе, о любви. Это в некоторой степени понятно, потому что много лет стихи о природе несправедливо замалчивались, не печатались, мало пропагандировались и считалось даже дурным тоном писать о природе.

Природу мы все любим, и это чувство, можно сказать, общественное: со страниц «Правды» и «Известий» идет разговор об охране природы, о лесонасаждениях, то есть даже государственное значение приобретает активная любовь к природе. Однако берез, растущих на русской земле, стало меньше, чем стихотворений о березе. А так как стихотворений просто о природе хоть и много, но в них не видно, тонко ли понимает природу поэт или просто считает нужным писать о ясенях и перепелках. Накопилась масса стихотворений, почти не различимых друг от друга ни по мысли, ни по выполнению.

Недавно мне прислали стихотворение молодого крымского поэта «Кипарис». Смысл его таков: нам надо учиться прямоте и стойкости у этого дерева. А в нашей «Литературе и жизни» я прочел стихотворение «Клесты» известного молодого поэта. Там фигурируют клест и клестиха, поочередно высиживающие яйца. И вот поэт восклицает: «Как я позавидовал этим клестам!»

Откуда же это идет? В самом ли деле поэты завидуют клестам или кипарисам? Я не думаю, чтобы такая мысль была естественной, идущей от жизни. Просто такой штамп выработался.

...Я думаю, что настоящее мастерство лежит в социальной, общественной теме, в наибольшей полноте ее воплощения.

Меня сердит и удивляет, когда молодые поэты сетуют на то, что мало написано стихов, отражающих глубокие современные конфликты нашей

рабочей жизни. Да с кого же спрашивать за это?! Есть мысли и столкновения, люди и характеры, которые давно ждут того, чтобы быть воплощенными в художественной форме, в произведениях советской поэзии. Я тоже пытаюсь это делать. Но ведь это в первую очередь хлеб молодых, кому не надо брать командировок, чтобы изучать жизнь, кто есть кровь от крови, плоть от плоти тех самых людей, что давно имеют право выйти на страницы советской поэзии как ее главные герои.

* * *

Из заметок в газете «Московский комсомолец»

Московские поэты старшего поколения издавна ведут в Литературном институте творческие семинары, выступают перед студентами с беседами, деятельно участвуют в рецензировании рукописей молодежи, поступающей в институт, и в защите дипломных работ. Но нам показалось, что этого мало, и мы решили свести в плотную поэтов наших секций с молодежью института, имея в виду наладить постоянные связи, организовать и упрочить широкое и индивидуальное шефство.

Для начала мы провели в стенах ЦДЛ две встречи с поэтами-студентами. Руководители поэтических семинаров института Е. Долматовский, В. Журавлев, В. Захарченко, А. Коваленков, Н. Сидоренко, С. Смирнов сказали по несколько слов о своих подопечных, вышедших из рабочей и колхозной среды, имеющих за плечами рабочий опыт и поддерживающих непрерывную связь с родными краями.

Молодые поэты, юноши и девушки,— кто робко, кто с запинками, а кто свободно и громко — читали нам свои стихотворения.

От обеих этих встреч у меня и у моих товарищей осталось радостное ощущение. Приятно было убедиться, что в советскую поэзию идут способные и талантливые люди, работающие в нужном направлении.

Особенно сильное впечатление произвели шахтерские стихотворения Н. Анциферова. Он пишет лаконично и мужественно. У нас так мало настоящих стихов, показывающих жизнь рабочего класса, что каждый новый выразитель этой темы встречает вдвойне радушный прием. В одном из ближайших номеров журнала «Москва» будет напечатано несколько стихотворений Анциферова, я советую всем не пропустить их. Они не всегда и не во всем совершенны, но всегда интересны и значительны.

У Александра Говорова — он настолько молод и непосредствен, что его хочется назвать не Александром, а Сашей,— на днях вышла в Курске первая книжка, предваренная добрым напутствием Н. Н. Ушакова. Трудно предугадать, как будет писать А. Говоров в дальнейшем. Но первая его книжка радует чистым восприятием мира, какой-то веселой непосредственностью и безусловно талантливыми чертами.

Все мы с вниманием и надеждой прислушивались к голосу бывшего кузнеца В. Волкова. Вот как начинается его стихотворение «Дикая кровь»:

Возле кузницы — снег прибитый,
Возле кузницы — ржавый лом,
Пресно пахнет жженым копытом
И остывшим серым дымком.

Эта отличная строфа — не случайная удача молодого поэта. Верится в то, что мы в недалеком будущем не раз будем радоваться его удачам.

Надо сказать и несколько слов о студентках института. Мы рады были познакомиться с творчеством Дины Злобиной, Галины Лебедевой, Ольги Фокиной, Светланы Евсеевой. Лебедева пишет яркие и занимательные стихи для детей. Одно из ее стихотворений — «Баня» — вызвало общее одобрение и, как думается нам, может стать любимым стихотворением малышей. Почти всем пришлось по душе безыскусные и глубоко народные стихи Ольги Фокиной, посвященные Северной Двине и людям, живущим на ее берегах. Правда, они производят большее впечатление, когда их слушаешь, чем когда их читаешь с листа. Читая ее рукопись, видишь все неуклюжие повороты, всю недостаточность мастерства. Но мастерство — дело наживное, ведь для того она и поступила в Литинститут, чтобы набраться профессиональной умелости.

1960 год. Из отзывов для газеты «Литература и жизнь»

...Мне очень хотелось бы как-нибудь напечатать стихи Ф-на. Но все, вышедшее из-под его пера и попадающее ко мне, кажется мне небрежно написанным и безвкусным. В лучшем случае в его стихотворениях бывает одна хорошая строфа. Как-то неинтересно он пишет, без ясной мысли. Из его стихов никак не поймешь, чего он хочет сам и на какого читателя рассчитывает. Избу он называет щетинистой. Пишет о плечах и спинах полей и т. д. Совсем неплохо начинается стихотворение «Золотые шары», но и оно испорчено безвкусными красотами, такими, как, например, вот эта: «распускайтесь, дышите, не вяньте, георгины сравнений моих». Мало того, что это безвкусно и претенциозно, но это совершенно не соответствует современному стилю, совершенно чуждо нашему словарю.

...О рифмах. Что такое плохая рифма? Что такое хорошая рифма?

Я склоняю ухо,
сидя за ухом.
И склоняет эхо
песню за Уфою.

Рифма погубила смысл...

1961 год. Предисловие к книге Вл. Кострова

Со стихотворениями Владимира Кострова (едва ли не первыми его стихотворениями) я познакомился около двух лет назад на семинаре молодых поэтов. Он уже тогда, делая первые попытки в литературном творчестве, обратил на себя некоторое внимание. В его довольно сумбурных стихах попадались отличные строчки и запоминающиеся строфы. Впрочем, эта явная одаренность еще ничего не доказывала. Мне пришлось повидать немало начинающих писателей, которые так и не сумели развить своего дарования, не продвинулись вперед, не выработали тонко-

го вкуса и продолжали писать небрежно, на любительском уровне или вообще бросали это дело, вспоминая о нем как о случайном увлечении.

С Владимиром Костровым, к моему удовольствию, этого не случилось. Огонек его дарования за это время не потускнел, а наоборот — разгорелся. Из его стихов все явственней и определенной стал выступать талант. Еще рано называть его мастером, но он идет к этому по верной дорожке и усиливает свое дарование работой. Он уже завоевал место среди многочисленных молодых поэтов, работая вместе с ними и все-таки чем-то отличаясь от них.

Мы, писатели старших поколений, пристально вглядываемся в лица нынешней литературной молодежи: что несут они с собой, как развивают лучшие традиции советской литературы, как выражают думы и характеры своих сверстников? Когда-то мы, комсомольцы гражданской войны и комсомольцы первых пятилеток, были как бы рупорами тысяч своих товарищей. Наш успех, наша значимость определялись именно этими причинами и обстоятельствами. Очень хотелось бы, чтобы поэты 60-х годов с такой же ясностью и определенностью пропагандировали и воспевали все духовное богатство своего поколения. Обидно, когда начинающий литератор служит только своему таланту и обслуживает только его. Нужно, чтобы он посвятил весь свой талант общему делу, огромным событиям нашего времени.

Мне нравится публицистическая заостренность стихотворений Владимира Кострова; не умозрительная, а органичная и естественная для человека, живущего интересами народа. Меня радует, что Костров исходит из лучших традиций советской поэзии, не повторяя, а своеобразно продолжая их.

В стихотворении «Прожектор» он говорит:

И мысль такая —
светом захлебнуться!
Такое чувство —
самому светить!

Эти строки по-хорошему напоминают известное стихотворение Маяковского. Тут нет подражательности и повторения, а есть прямая и самостоятельная преемственность мысли. «За легкой удачей не гонись!» — пишет Владимир Костров. Очень приятно, что этот лозунг советской поэзии прошлых лет перешел в руки молодого поэта.

Костров ничуть не скрывает этой преемственности. Она у него не случайна и не подсознательна. Доказательством этого служат хотя бы следующие строки:

Надо мной начальниками вставшие,
с молодым накалом чистых глаз,
опытные, знающие старшие,
верю вам
и жить учусь у вас.

Но было бы грустно, если бы Костров только — пусть своеобразно — повторял мысли и образы своих учителей. Ценность его стихотворений именно в том, что они являются отзвуками вот этого времени, вот этих дней. Поэты первых лет революции подразделялись на пролетарских и крестьянских, на поэтов для интеллигентов и поэтов для кустарей. Логика развития нашей страны слила воедино в молодом писателе сегодняшнего времени лучшие приметы и лучшие особенности этих групп. В самом деле, можно ли в стихотворениях сельского паренька, окончившего химический факультет МГУ, разграничить человека, до боли души любящего русскую природу, от ученого-новатора? Когда Владимир Костров говорит: «Я — потомок вятского пахаря, ныне еду распахивать небо», то это воспринимается не как литературный прием, а как естественное умозаключение. Совершенно естественно он пишет и о «добела раскаленных тиглях», и о «голубином взгляде голубики».

В этом и заключается главная сила и значительность его творчества.

Отдельные строки Кострова напоминают то Маяковского, о чем уже говорилось выше, то Есенина: «Я стою, как березка, молодой и зеленый. Вы подвиньтесь, березки, я с вами до утра порасту». Не обошлось и без влияния других образцов. Но говорю об этом, ничуть не обвиняя автора. Насколько мне известно, все поэты, в том числе и гениальные, начинали, испытывая влияние своих предшественников и товарищей. Это вполне закономерно и естественно. Отрадно, что чужие голоса, что другие интонации не заглушают голос самого автора. Его собственная интонация уже сильно слышится, и думается, что она будет все шире и полнозвучней. Во многих его стихах есть очень своеобразные и сильные образы, впечатляющие и радующие.

Костров написал еще очень немного. Несмотря на то, что среди этого немногого есть бесспорные удачи, говорить о нем как о сложившемся поэте еще слишком рано. Но хочется думать, что он будет быстро развиваться в нужном направлении и оправдает те слова, которые я о нем сейчас сказал.

Из отзывов для газеты «Литература и жизнь»

...Вологодский поэт Василий Белов, секретарь райкома комсомола. В его рукописи немало незавершенностей, отдельных неудачных строк и строф. Но у него определенно есть необходимая связь с жизнью и умение выбрать главные темы действительности.

...Имя Т. А-й я слышу впервые. Для того чтобы точно оценить стихи какого-либо человека, очень не мешает знать его возраст, профессию и то, как долго занимается он литературной работой. Если А-я молодая, начинающая поэтесса, ее стоит поддержать и можно будет напечатать одно или два стихотворения, предварительно предложив ей сократить их и поправить. А ежели она занимается литературой давно — этого делать не стоит.

Представленную рукопись стихотворений Николая П-на открываешь с интересом. Еще бы, одно название — «Утро Комсомольска» привлекает читателя, а тут еще подзаголовок: «Из дневника строителя», подчеркива-

ющий достоверность и систематичность описания этого значительного и знаменательного эпизода нашей истории.

Но стихотворения далеко не оправдывают этих ожиданий. Читая первые страницы, прощаешь автору некоторые технические слабости, некоторую риторичность, надеясь, что дальше-то он развернет более широкие картины, что потом, в середине книги, возникнут живые образы людей, что со временем, в более поздних стихотворениях, возрастет его мастерство. Но листаешь страницу за страницей и разочаровываешься все больше. Очень многие стихотворения похожи одно на другое, мало, очень мало волнующих, сильных мыслей, конкретных людей маловато, и нарисованы они поверхностно, схематично.

Автору не хватает точности слова. Нет сомнений, что он был участником строительства и знает дело. Но многие строки и строфы мешают этому ощущению достоверности. Например, он говорит: «Давай же, мой друг, топоры мы заправим». Я не представляю себе, как можно заправить топоры...

1962 год. Из неопубликованных разделов стенограммы доклада «О поэзии молодых» на пленуме Московской писательской организации

...Если вы, молодые поэты, хотите своим стихотворениям долгой жизни, не увлекайтесь побочным и многозначительным. Чем острее и талантливее выразите вы сегодняшние события, чем рельефнее подадите образы людей нашего времени, тем большая слава достанется вашим стихотворениям.

...Самой значительной и высокой мерой таланта является мера его гражданственности, хорошей публицистичности.

...Пусть не забывают молодые поэты, что даже Александр Блок больше всего значит именно своими гражданскими, политическими стихами и поэмами, хотя никто не собирается упрекать его за создание образов любовной лирики.

...Уже несколько лет весь мир (кто — восторженно, а кто — злобно) говорит о потрясающих успехах нашей страны в деле покорения космоса. На темы полета наших спутников, наших станций, наших четырех космонавтов написаны сотни стихотворений. Но ни одно из них не прозвучало так, как этого требует сама тема. В чем же дело? Дело отнюдь не в том, что на нашей земле перевелись таланты. Талантов у нас избыток. Дело и не в том, что мы ленивы и не любопытны, как об этом когда-то сказал Пушкин. Мы далеко не так ленивы, как в прошлом веке, и, уж во всяком случае, любопытны. Но мы, поэты, совершенно не знаем этого сложного и недоступного нам материала и людей, работающих в этой области. Уверен, что мы должны обратиться к тем, от кого это зависит, чтобы нам позволили окупиться в жизнь, и деятельность покорителей космоса. Уже четыре раза со стартовой площадки взлетали наши космонавты, и всегда свидетелями этих взлетов были многие журналисты. И ни разу среди них не было хоть одного-единственного поэта. А между тем редакции газет

ночью звонят поэту, чтобы он написал стихи по этому поводу. А что он может написать, если он знает гораздо меньше, чем многие другие.

...Интересная книжка Николая Анциферова «Подарок». Николай Анциферов недавно закончил Литературный институт и был принят в Союз писателей. Но перед тем как поступить в институт, он много лет прожил в шахтерском поселке. Значительность и интерес его поэзии в том, что она насыщена материалом шахтерского края, его людьми, его индустриальными пейзажами.

...Этим летом несколько писателей Москвы и других городов отправились работать в новые межрайонные газеты. Дело это хорошее. Но я хочу напомнить, что на московских заводах выходят десятки многотиражных газет. Было время, когда Александр Безыменский, Сергей Васильев и другие поэты активно помогали этим газетам и сами получали там, на заводах, в железнодорожных депо и на фабриках, богатый материал для своего творчества.

Хотелось бы, чтобы секция поэтов направила, как бы на практику, в многотиражные газеты Москвы три-четыре десятка поэтов, в основном молодых.

...Вот еще одно из дел, ждущее молодых поэтов. Стены и крыши, улицы и площади Москвы, да и не одной Москвы, сейчас украшают скучные, казенные и часто неграмотные тексты. Так, на Садовой улице, на крыше многоэтажного дома, красуется такое светящееся изречение: «Чтобы знать о событиях в мире, имейте газеты в каждой квартире». Это не только полуграмотно, но и скучно. Или вот другая стихотворная реклама на автомобилях: «Повидло и джем — полезны всем». Тут нет ни звучной рифмы, ни юмора, да и сама мысль далеко не верна: ведь джем и повидло многим просто противопоказаны.

Очень бы хотелось, чтобы за год-полтора поэты, с помощью молодежи из литературных объединений, украсили свои города остроумными, точными, запоминающимися лозунгами и рекламами.

Всем известно, что Маяковский с любовью и охотой занимался этим делом. Давным-давно нет треста «Моссельпром», а двестише Маяковского: «Нигде кроме, как в Моссельпроме» — до сих пор живет в нашей памяти. Ему же принадлежит знаменитое изречение: «Кто куда, а я — в сберкассе». Неплохо бы нам потягаться силами с Маяковским и в этом направлении.

Спасибо нашим газетам, особенно газетам молодежным, за то, что они, не скупясь на место, обильно печатают стихотворения, даже поэмы. Это очень хорошо. Плохо то, что они печатают много средних и скучных стихотворений. Плохо, что, печатая стихи, редакция газет редко обращает внимание на уровень этих стихов, там зачастую ценят не своеобразие, а привычный штамп. Уже не раз в нашем обществе раздавались голоса по этому поводу. Но положение не меняется, да и вряд ли может оно измениться, даже если будет принято какое-либо решение по этому вопросу. Оно может измениться к лучшему только тогда, когда в наши газеты пойдет сотрудничать цвет нашей молодой литературы. Оно может измениться к лучшему, если газета будет иметь возможность выбирать

для печати самые интересные из нескольких стихотворений на ту или иную сегодняшнюю тему.

Нельзя забывать, что газеты дают поэту огромнейшую аудиторию, исчисляемую несколькими миллионами. Вы только сравните несколько-тысячный тираж, каким издаются в основном сборники молодых поэтов и семи-восьмимиллионные тиражи наших центральных газет.

1965 год. Из отзыва на стихи молодого поэта

...Меня не пугает некоторая неправильность речи Ф-ва. Если она идет не от неграмотности, некоторая неправильность речи необходима поэту.

Я хочу предостеречь Ф-ва от желания «залезать» чересчур «высоко». Когда он берется за Моцарта, Данте, Коперника, у него явно не получается. Никогда не надо писать о том, чего не знаешь...

1966 год. Из интервью в день открытия семинара молодых писателей Урала и Сибири газете «Комсомолец Кузбасса»

...Главное, чтобы было что-то за душой. Бывает, напишут ребята по книжечке — и выдохлись. Смотришь, уже переводят — сами не знают, с какого языка... И, собственно, все на том кончается мелким полупрофессионализмом. Случается, правда, пустая полоса, годичный, скажем, кризис, поэтому-то ни на ком и не следует ставить крест. Когда жизнь вновь наполняется содержанием, тогда и поэзия будет.

Все решаете суммой идей, твоим отношением к миру, тем, что ты от него хочешь.

...Одного таланта, как видите, мало, потому что за твоим отношением к жизни — последнее слово.

Из статьи «В добрый путь» в газете «Литературная Россия»

...Откуда-то из-под Барнаула приехал (на семинар молодых писателей Урала и Сибири.— В. О.) на свой счет и риск молодой зоотехник В. Слепенчук. Его стихи нас удивили, но не обрадовали: слишком много в них якобы новомодной манерности, явной усложненности, нарочитой туманности. И вдруг он прочитал «Барабанщика» — лихо написанное, ясное и веселое стихотворение. Этот самый барабанщик вселяет в меня надежду, что у начинающего поэта есть здоровая оптимистичная основа, на которой он и будет развиваться, а вся псевдолитературная шелуха пойдет в полосу. Вот почему я и рекомендовал «Литературной России» поместить это стихотворение в виде, что ли, аванса.

Из набросков к заметкам о творчестве Евгения Винокурова

Десять лет назад была напечатана в «Литературной газете» моя рецензия на книгу Евгения Винокурова «Синева». Он тогда только начинал свою деятельность в литературе. Я горжусь тем, что среди многих молодых писателей, начинавших в то время, угадал его, выделил его и полюбил.

...Заманчиво, но безнадежно стремиться к педантичному воспроизведению оригинала на ином языке. Всегда приходится жертвовать чем-то ради другого, более важного. Если переводчик пытается обязательно сохранить и дух, и букву подлинника, это неизменно приводит к торжеству буквы и ослаблению духа, к утере естественности. К оригиналу нужно относиться уважительно, но не подобострастно.

Но у нас еще не совсем вывелся и третий подход к оригиналу — пренебрежительный. Когда его носителем является окололитературный делец, постаревший Никифор Ляпис перевода, это не так уж страшно. Гораздо горше и опаснее, что подобные взгляды усваиваются людьми неискушенными, молодыми. Они, сперва от неопытности и наивности, а потом по привычке, переводят все, что попадаетея и как попало, втискивая в текст свои завалавшие без дела сравнения, опускают или искажают ненравящиеся, или непонятные, или не сразу дающиеся места. И еще полагают, что способствуют пропаганде и развитию национальных литератур, что так работают все.

А ведь переводить нередко бывает сложнее, чем писать собственные стихи. Из своего стихотворения ты волен вычеркивать неудавшуюся строфу, заменить эпитет, переменить конструкцию, сократить начало, оборвать конец. А тут все это исключается. Нужно подчинить свои порывы дисциплине другого поэта, не навязывать ему своей интонации, не оснащать его своими соображениями и после всего этого еще нести двойную ответственность; и за автора, и за себя. Работа нелегкая, но благородная, нужная, приносящая не только заботы, но и радости, утомляющая, но и обогашающая тебя.

И при всем том чем крупнее и самостоятельнее поэт-переложитель, тем заметнее его особенности в переводах.

Как-то в редакцию «Дружбы народов» одна литературная дама принесла целую папку своих переводов. Уже по первым страницам я понял, что дело обстоит безнадежное, и, для виду листая рукопись все дальше, думал, как бы поделикатнее отказать. Как вдруг один из переводов с первой строки удивил меня своеобразной знакомой силой; конечно же, это делал один из крупнейших поэтов — его словарь, его стиль, его глубокое дыхание. Наверное, что-то подобное испытал бы Ираклий Андроников, когда он в безвестном городке, перелистывая альбом чьей-то прабабки, вдруг увидел бы неизвестное стихотворение Лермонтова, переписанное случайной рукою.

Тут и не пахло нарушением закона. Большой поэт просто подарил хорошей знакомой свой перевод, хотел по-дружески помочь ей. Но бескорыстная мистификация не удалась по двум обстоятельствам: слабости переводчицы и силы переводчика, хотя она и стремилась подняться до его уровня, а он пытался замаскироваться под нее.

Я вспомнил этот случай не для забавы, а в ответ тем товарищам, которые полагают, что поэт, берясь за переводы, может для пользы дела стусеваться, исчезнуть. Это не то чтобы привлекательно или непривлекательно, а попросту невозможно.

Как же быть? Думаю, что выход все же есть: переводить только близких по темам, по сути, по эстетике авторов-сподвижников.

1970 год. Из статьи «И песнь моя — народ родной!», опубликованной газетой «Известия»

...Еще тогда, в годы коллективизации сельского хозяйства, в литературную Москву доходили слухи о молодом обещающем поэте. Но никто и не подозревал, как широко и сильно развернется этот талант в скором времени.

Первый успех и безоговорочное читательское и литературное признание принесла поэту «Страна Муравия», опубликованная журналом «Знамя» три с лишним десятка лет назад. Твардовский с одной этой поэмой в руках сразу вошел в плеяду виднейших советских писателей и был вместе с ними награжден орденом Ленина.

Не было в нашей поэзии, посвященной годам Великого перелома, таких произведений, которые можно поставить рядом со «Страной Муравией». И сейчас сердце щемит от горького юмора, наполняющего эту поэму, и сейчас добрую улыбку вызывает наивный и незадачливый Никита Моргунок, пытавшийся на своем сером коньке уехать... от коллективизации. И сейчас нельзя без признательности и некой торжественности слушать эпический рассказ о семье деревенских коммунистов Фроловых. Для того чтобы так естественно, буднично и вместе с тем приподнято написать поэму о первом на земле революционном переустройстве сельского хозяйства, мало одного таланта и наблюдательности — нужно самому быть активным участником величественного перелома в народной жизни.

С каждым новым стихотворением прибавлялась и упрочивалась известность поэта. Широкая и честная, добытая требовательным к себе трудом, но пока только известность, а еще не слава. Настоящая слава явилась позже, в годы Великой Отечественной войны. Ее принес в своем вещевом мешке солдат Василий Теркин.

...Личность автора — как много она значит! Литература жить и действовать, как ей положено, без писательских личностей, без ярких характеров никак не может. А Твардовский — это личность, всегда сказывающаяся и в большом, и в малом.

1971 год. Из отзывов в газету «Литература и жизнь»

...Виктор Т-ов — участник недавнего совещания молодых писателей Москвы и области. Он преподаватель истории в школе-интернате. Я, как руководитель семинара, в котором занимался Т-ов, доволен, что его стихотворения выносятся сегодня на широкую читательскую трибуну.

На нашем семинаре творчество Т-ва получило хорошую оценку. Нам понравилась и широта тематики молодого поэта, и лаконичность, присущая автору, и его вкус.

Т-ов знает цену слова и умеет, за редкими исключениями, ставить его в нужной строке и на нужном месте.

Он живет интересами народа, еще не забывшего Великую Отечест-

венную войну и активно думающего о будущем своей страны и всего человечества.

На мой взгляд, Виктору Т-ову не хватает еще школы печати, которая вырабатывает в писателе углубленную ответственность за каждую строчку стихотворения. Было бы хорошо, если бы читатели сегодняшней подборки прислали в редакцию свои отзывы, отклики, пожелания, которые несомненно помогут поэту в его дальнейшей работе.

1972 год. Из интервью комсомольской газете «Смена»
(Л е н и н г р а д)

Я думаю о своей профессии... Чем больше живешь, тем ощущаешь большую ответственность как человек, который должен помочь стране в воспитании молодых. И стихами своими, и жизнью своей. Романтика, по моему, есть там, где есть ощущение, что ты участвуешь в жизни страны, в нашем общем деле.

всегда в строю

СТИХИ УЧАСТНИКОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
НАВСТРЕЧУ 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ВАДИМ ПОПОВ

Родился в 1925 году в Тбилиси. Окончил 2-й Московский медицинский институт имени Н. И. Пирогова. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на 2-м Белорусском фронте. Сейчас работает врачом-рентгенологом.

СОЛДАТЫ СОРОК ПЕРВОГО ГОДА

Июль. Прифронтовые города.
Устало шли суровые солдаты,
в пыли дорожной, хмуры, бородаты —
в предощущенье ратного труда.

Был четок их неумолимый шаг.
Они не пели — не до песен было.
Но барабанным грохотом в ушах

звучал тот шаг, да так, что сердце
стыло.

Они шагали, словно онемев,
в себя вместив неслыханные беды.
И на штыках высвечивал их гнев
неотвратимость будущей победы.

СОЛДАТ ПАНФИЛОВСКОЙ ДИВИЗИИ

У разъезда подмосковного
с непреклонностью в глазах
против врага исконного
рядом с русским встал казах.

Может быть, впервые сказку он
там учился понимать,
где степями джезказганскими
пеленала мать.

Из других его не выделю —
так и светится лицом,
и в Панфиловской дивизии
он хорошим был бойцом.

Подвигов не знаю всех его,
но последний назову:
у разъезда Дубосеково
он прикрыл собой Москву.

РОДИМАЯ ЗАСТАВА

Наверно, улыбаюсь я блаженно,
когда везет меня к тебе трамвай.

Могу ль тебя забыть, Преображенка?
И ты меня, прошу, не забывай!

Все детство пробежало здесь, в районе,
на яузских знакомых берегах,
на фильмах, что крутили в «Орионе»,
и все это — от дома в двух шагах.

На тротуарах — «классы» да скакалки,
а во дворе — военная игра,
и вот уже гашу я зажигалки,
и вот уже на фронт идти пора...

Потом — глаза заждавшихся
подружек.

Но в чем же их-то, в чем же их вина,
что нас, парней, увешанных оружием,
не всех живыми выпустит война?

И никакой любви и ласке женской
не заслонить военных лет беду.
К заставе я иду Преображенской —
с минувшим детством встретиться иду.

Но как преображается столица!
Где стареньких домишек суетня?
Дома — другие, и другие лица,
не узнавая, смотрят на меня.

А я плетусь, плетусь к тебе устало
не на метро — в трамвае, не спеша.
Прими меня, родимая заставка,
узнай меня, родимая душа!

Всего в двух метрах за спиной
Плескалась волжская вода.
Пусть в амбразуре тучи клок

Да лишь чебрец, как синий дым,—
В огромный мир глядит стрелок,
Во весь свой рост стоит над ним!

Октябрь, 1944,
Фрунзовка

ПОЛУСТАНОК ВОДОПОЙ

На полях, где разгорался
С каждым днем сильнее бой,
Неизвестный затерялся
Полустанок Водопой.

Ни гудков, ни эшелонов —
Ветер, степь и два пути,
А воды, и то соленой,
Больше горсти не найти.

Грохотал здесь бой неделю.
Мы кляли степную гладь.
Пули в травах тонко пели,
Головы нельзя поднять.

И под говор пулеметный
В одиночку и гурьбой
Мы ругали в день бессчетно
Полустанок Водопой.

А за будкой — Николаев
Горизонт рассек вдали,

Он свободы ждал, пылая:
Немцы порт и город жгли.

И, забыв про воду, каждый
Не желал той будке зла.
У солдат другая жажда —
Жажда мести сердце жгла.

И в атаку в мутный вечер,
Всем стихиям вопреки,
Всем опасностям навстречу
Шли гвардейские полки.

Целину пахали танки,
В землю вмыв немецкий дзот,
Был решен на полустанке
Битвы яростной исход.

В город двигались солдаты,
И остался за спиной
Удостоенный лишь взгляда
Полустанок Водопой.

Март, 1944,
в освобожденном Николаеве

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Он падал над передним краем,
Лучистый, талый и густой,
И сразу стал неузнаваем
Передний край за высотой.

Отяжелевших елей ветки
Едва колышутся в лесу,
И в тишине лишь выстрел редкий
Пугает зимнюю красу.

Лежала снежная обнова
На каждой ветке и тропе...

...Мне первый снег напомнил снова
О ранних встречах, о тебе.

Ты приносила радость света
И сердцу трепетный простор,
Как долгожданная ракета,
Как белизна полей и гор.

И мне сегодня после боя
Легко, родная, на душе,
Как будто ты весь день со мною
Была в сосновом блиндаже.

Заносит снег пути, где много
Петляла буйная война,
Но от меня к тебе дорога
Не будет им заметена.

Вернусь я, став нежней и строже,
Но прежний, как рябины цвет,
Как этот снег, во всем похожий
На снегопады прошлых лет.

Февраль, 1944,
наступление на Николаев

ТЫ КЛЯЛСЯ

Ты клялся на верность и славу
Под шелком знамен на ветру.
Так в битве герои Полтавы
Присягу давали Петру.

Любовь беспредельная сына
И храбрость солдатских сердец
Слилися в тебе воедино,
Бесстрашный советский боец.

С друзьями в торжественном строе
Ты принял священный закон.
Так предок твой клялся зимою
На Чудском под шелест знамен.

Не ты ли у стен Сталинграда
Захватчикам путь преградил?
Народ приказал тебе: «Надо!»
Ты выстоял и победил.

В присяге — могучая сила.
Она нашу рать повела
На доблестный штурм Измаила,
На орды врага у Орла.

Громи же фашистскую свору,
Рази, как каленый металл!
С тобой вся Отчизна, которой
Присягу на верность ты дал!

Июль, 1943,
КП полка, Дмитровка, река Миус

Родился в 1925 году. Участник Великой Отечественной войны. Живет в городе Россоши Воронежской области. Работает сотрудником районной газеты.

Печатался в альманахе «Поэзия», в журнале «Волга», в сборнике «Дорога Победы».

СТИХИ

Стихи, как память о войне...
Они еще стучатся в сердце
И продолжают жить во мне,
Суровые единоверцы.

Они людей тревожить душу
Хотят с другими наравне
И ждут, чтоб кто-то их послушал,
Стихи солдата о войне.

Кому-то, может быть, дано
Найти в них родственные чувства,
Приметив в закромах искусства
Мной принесенное зерно.

Взращенные, подобно злакам,
Средь избяных крестьянских стен,
Они еще идут в атаку,
Чтоб никогда не сдаться в плен.

БЫЛИ ЭТО ВСЁ ЖИВЫЕ ЛЮДИ...

*Памяти Степана Григорьевича Брюнина,
Андрея Ивановича Ныркова, Ивана Афанасьевича Рыжова
и других односельчан, павших в битве под Москвой*

Были это всё живые люди.
Отойти не пожелав назад,
В новеньких шинелях у орудий
Мужики побитые лежат.

Взяли их с уборочной в солдаты.
Впрок и дня не вышло отдохнуть.
Неуклюжи чуть и мешковаты,
Будто перед кем-то виноваты,
Шли они от сельсовета в путь.

Жуткие осенние недели.
Враг у подмосковных деревень.
У орудий серые шинели
Начинали новый трудовдень.

Бить по танкам не простое дело.
Всё кругом в неистовой пальбе.
Соль на гимнастерках прикипела,
Будто на току, на молотье.

На руках тяжелые снаряды
И на лицах копоть, как смола.
Никакой награды им не надо.
Лишь бы только Родина жила.

Тяжела их ратная работа,
Но работать им не в первый раз:
И родились в поле у ометов,
И встречают тут последний час.

Мать-земля, родная с колыбели,
Мягкую постель им приготовь.
Новые — с иголки — шинели
Теплая пропитывает кровь.

Потонула даль в дыму и гуде.
Враг отброшен. Враг бежит назад.
В новеньких шинелях у орудий
Пахари побитые лежат.

ПРИВАЛ

Упаду, изможденный,
На винтовку щекой.
Ах, как сладок законный,
Разрешенный покой!

Вот и дождик не чую.
Распластавшись ничком,
Все куда-то лечу я
Босиком, босиком.

К деревянному ложу
Лбом горячим прильну.
Ничего нет дороже —
Моментально засну.

Убегаю с уроков
С ребятнею на пруд.
Нам отпущено сроку
Целых десять минут.

Ни единой мыслишки
О гудящей войне.
Орудийные вспышки
Где-то там, в стороне...

В борозде в огородах
Расстилаю шинель,
Рву для наше ' коровы
Повитель, пови.ель...

Старшина наш на грядке
Тоже плюхнулся в грязь
И лежит в плащ-палатке,
Как какой-нибудь князь.

И опять убегаю
С ребятнею на пруд.
Мне отпущено, знаю,
Ровно десять минут.

Опираюсь спиною
О его сапоги.
Ночь висит надо мною,
И не видно ни зги.

Мне отпущен законный,
Разрешенный покой!
Кто там, в плащ облаченный,
Тычет в спину рукой?

Дождь, к востоку повернутый,
Выжимающий знобь,
По пилотке развернутой
Сеет мелкую дробь.

Кто там с яростным топотом
В круг выходит плясать
И кричит полушепотом
Повелительно: «Встать!»

ГЕНЕРАЛ

Василию Митрофановичу Шатилову,
односельчанину, бывшему командиру
150-й стрелковой дивизии

Год победный. Со «стариками»
На дорожку прощальный привал.
Косит траву перед полками
Штурмовавший рейхстаг генерал.

Батальоны, взвода и роты
Рассыпаются в полукруг.
Зеленеет перед пехотой
Некошёный германский луг.

С увольняемыми стрелками
В честь Победы последний привал.
Перед доблестными полками
Выхваляется генерал.

Ух, какой у комдива норов,
Ряд берет — сразу метра три.
Дескать, глянь на меня, Егоров,
И Кантария — посмотри!

В такт косьбе припадает на ножку,
Ни заминки, ни спеху в ходу.
Ни былинки, ни мелкой крошки
Не обронено на ряду.

Вдоль осыпавшейся траншеи,
Как по струнке, валки кладет.
С генеральской лоснящейся шеи
Льет ручьями горячий пот.

Сочной радугой перед глазами
Облетает с травинок роса.

МНЕ ДОВЕЛОСЬ В СОСТАВЕ ВОЙСКА...

Мне довелось в составе войска
Пройти румынские поля
И у советского посольства
Сменять охрану короля.

Но я послов держал в опале,
Недосягаем в их глазах.
Кричали мне: «Траяска * Сталин!»
Девчонки в рваных постолах...

Мне довелось увидеть лично,
Как проходил за рядом ряд

На лугу, в перезвон с орденами,
Словно флейта, поет коса.

Что ж ты, травушка, перезрела,
Или срок твой еще не настал?
...Для учений, что ль, сектор обстрела
Взялся выкосить генерал?

Захотел — и на всю катушку,
Сам себе наивысшая власть.
Носит косу в руках как игрушку,
Наработаться вздумал всласть.

Иль не слышит — дивизия стонет,
Не поймет, как томятся бойцы,
Как от зависти чешут ладони
Стосковавшиеся косцы!

Так картинно ступает шажками —
Что там вальсы и что там бал!..
Косит, косит перед полками
Штурмовавший рейхстаг генерал...

По главным улицам столичным
Румынский пролетариат.

Народ на часовых советских
Обрушивал приветствий шквал,
И на проспекте королевском
Гремел «Интернационал».

Его величества заставы
Поразбежались за версту..
И по неписаным уставам
Я улыбался на посту.

* Траяска (рум.) — Да здравствует.

Родился в 1917 году. Окончил Саратовский педагогический институт. Доктор филологических наук. Участник Великой Отечественной войны. Автор ряда книг и статей по литературоведению.

СТИХИ О СТАЛИНГРАДЕ

I
Жил — не замечал, как ты мне дорог,
Город мой, пылающий в беде.
Я не знал, что о твоих просторах
Буду помнить всюду и везде.

Ты сейчас в огне, в свинцовой буре,
Весь прострелен, всюду обгорел.
Ветер гонит пепел по Лазури *,
Черный дым висит на Даргоре *.

Нет и моего гнезда родного —
За Мечеткой притаился враг.
Больше нету Первозаводского,
От Спартановки остался прах.

Там сейчас сплошное пламя пышет,
Там домов разрушенных не счесть...
Больше мне родные не напишут
Письмецо с Менжинской, № 6.

Где они? Где Генки голос звонкий,
Долзатавший до меня не раз?
Почему не слышно о сестренке?
Где и кто их приютил сейчас?

Может, и они бойцами стали,
Тоже город защищают свой.
Может быть, давно в сражение пали
На знакомой с детства мостовой.

* Лазурь и Даргора —
районы Сталинграда.

Город мой, я от тебя далеко.
Мы с тобой пока разделены.
Между нами пролегла дорога,
Не одна — а сто дорог войны.

Я их все пройти обязан с боем.
Трудный путь — зато в конце его
Встречусь я на Родине с тобою,
Это будет радостней всего.

Там, где пули в улицах звенели,
Где узнал я радость и беду,
Как к бойцу в простреленной шинели,
Я к твоим руинам припаду.

II
В руинах ты, но здесь в борьбе
жестокой
Постигнул немцев гибельный удел.
Уже последний выстрел одиноко
Среди твоих развалин прогремел.

Закончилось великое сражение —
И ты, мой город, в битве победил.
Здесь русский немца бил
с ожесточеньем,
С каким никто и никого не бил.

Заснеженный, руинами темнея,
Свинцом побитый, в пепле и в дыму,
Родной мой город, стал ты мне роднее,
Еще дороже сердцу моему.

Родился в 1926 году. В 1943 году ушел на фронт. В составе 51-й армии рядовым пехотинцем принимал участие в освобождении Литвы, Латвии. После войны окончил художественно-промышленное училище имени М. И. Калинина. Печатался в газете «Красная звезда», в журналах «Знамя», «Нева», в альманахе «Поэзия».

* * *

Наша молодость — бой,
Наша память — война...
Мы в такие с тобой
Рождены времена.

Времена — где решать
И по-смелому — сметь.
Где неверный твой шаг —
Это верная смерть...

Мы уходим в запас,
Экспонатом в музей.
Но, как прежде, для нас
Живы лица друзей,

Что ушли, не допев
Сольем поутру,
Яркой вспышкой сгорев
На военном ветру.

Для того, может быть,
И остались мы жить —
Чтоб их память хранить,
Чтоб не дать их забыть.

Чтоб горниста трубой
Их пропеть имена...
Уж в такие с тобой
Мы живем времена.

ПЕРВАЯ АТАКА

Что было — то было:
И зубы стучали,
И крепко знобило...
Но — это вначале.
Когда мы лежали
(И что уж лукавить),
С надеждою ждали
Команды «Отставить».
А пули свистели,
А мысли сверлили:
«А вдруг — расхотели?
А вдруг — отменили?»
Но ротный орет:
— Подымайся, ребята! —
И поле плышет...
И в ногах твоих — вата...

Команда — «Подняться»,
И некуда деться.
Не время — «бояться»,
Здесь надо «вертеться»...
И страх отвязался —
Остался на месте,
Когда ты поднялся
С ребятами вместе.
И с ними, всем скопом,
Единым порывом,
В атаку потопал
Навстречу разрывам.
Бросками
Растянутой ротной цепочки,
От камня до камня,
От кочки до кочки.

По глинистой жиже
«Пехотным галопом»,
Все ближе, все ближе
К немецким окопам...
Земля над тобою
Вставала стеною,
Бил воздух тугою
Взрывною волною.
Взрывался металл,
И осколки визжали...
И ты увидел,
Как враги побежали.
И в их ненавистную
Черную спину

Ты выпустил диска
Почти половину.
И с криком «Ура!»
В их окопные ямы
Ты прыгал с бугра
Со своими друзьями...
Бежал что есть ног
Сквозь ходы-переходы,
Кричал: «Хенде хох!» —
Под блиндажные своды.
Гранатой «врезал»,
Сек огнем автомата...
И ротный сказал:
— Закрепляйся, ребята!

ТРАВУШКА-МУРАВУШКА...

Травушка-муравушка,
Чернозем,
А по этой травушке
Мы ползем...
Шесть ночей уж ползаем
Вновь и вновь.
Нужен нам «язык» —
Хоть из носа кровь...

Приказал добыть его
Комполка,
Только не везет
С «языком» пока.
Фрицы растревожены —
Не возьмешь...
А начальство требует:
— Вынь да положи!

Взяли прошлой ночью
Одного,
Только не смогли
Довести его:
На нейтралке вырвался,
Стал орать...
Что тут было делать?
Пришлось «убрать».

Весела записка,
Да лих мотив...
У своих до сумерек
Прогостив,
К немцам через поле
Опять ползем...
Травушка-муравушка,
Чернозем...

МЫ БЫЛИ ПЕХОТОЙ, НАС ЗВАЛИ — «СЛАВЯНЕ»

Ой, славяне — что с Кубани,
С Волги, с Дона, с Иртыша...

А. Твардовский

С газетных полос
И со слов на экране
Пошло наше громкое имя «Славяне».
И мы его взяли,

И мы им гордились,
И с предками славою
Славянской сравнились...
С ним, звавшим к отваге,

Врага победили,
Его на рейхстаге
Штыком вывели.

И годы его не укроют в тумане:
Мы были пехотой, нас звали —
«Славяне»

БАТАРЕЯ МОЯ, БАТАРЕЯ

Пробежать бы поле скорее...
Да не теща с блинами нас ждет.
Батарея моя, батарея!
Где обещанный твой артналет?

Пулеметы долбят, зверея.
Холодок сосущий в груди...
Подави же ты их скорее,
Стодвадцатка,— не подведи...

Наконец, через нас пролетая,
Понеслись снаряды к врагу.

* * *

Вы погоны,
Вы зелены,
Беспросветные мои.
А над вами, над зелеными,
Поют не соловьи...

Не соловушки свистят
Да посвистывают —

* * *

Как в злом, неотвязном сне,
Все вижу я вновь и вновь:
Ты несешь меня на спине,
И мешается наша кровь...

Наша общая кровь течет
И дорожкой нам вслед бежит,
Пулемет по ветвям сечет,
В черном небе луна дрожит.

Одинокой свечой в ночи
На нейтралке горит изба.

Дай им жару! Моя родная...
Я сейчас тебе помогу.

А теперь за пехотой дело:
— Эй, СЛАВЯНЕ! Кончай ночевать! —
От земли отрываю тело,
Не хотящее умирать...

И иду... С каждым шагом смелея,
Прикрываясь щитом огня...
Батарея моя, батарея!
Что б мы делали без тебя?

Пули меткие летят,
Вас разыскивают...

А разыщут — найдут,
Прямо в сердце попадут,
Вас, зеленые погоны,
Алой кровушкой зальют...

Сердце в горле моем стучит,
И гудит моя голова.

И я чувствую каждый твой шаг,
И я слышу каждый твой хрип...
И мне кажется, кочка — враг,
В мозг вонзающий острый шип.

Головой припав к твоему
Окровавленному плечу,
Я опять из света во тьму,
Отуманиваясь, лечу...

А потом — тишина, покой...
Человечьим пахнет жильем.
Ты погладил меня рукой:
— Ничего, еще поживем...

Тихо слышится голос твой
Мне из сонного далека:
— Значит, будет парень живой?
Забинтуй и меня пока...

Легкораненым путь в санбат,
Мне — «тяжелому», дальше в тыл.

Как зовут тебя? Разузнать
Мне уже не хватило сил.

Где теперь ты, бывлой солдат?
Как твои отыскать следы?
Отзовись! Неизвестный брат,
Что спасал меня от беды.

В том ночном бою у села,
Где нам кровь довелось смешать,
Брата кровного мне дала
Наша общая Родина-мать.

Родился в 1926 году в Ленинграде. Ушел добровольцем на фронт. Был тяжело ранен. После войны окончил педагогический институт имени А. И. Герцена. Автор нескольких книг стихов.

В МОСКОВСКОМ ПАРКЕ ПОБЕДЫ

Сколько зеркал для меня
В Ленинграде моем.
Что ж это раньше
Я в них не успел наглядеться...
Вот надо мною
Могучая крона поет.
Вот я и вспомнил
Ее тополиное детство.
Гнущийся стволик
И глины засохший комок,
Как же вас взять,
Чтоб легонько нести и проворней.
Словно ручонки,
Обнявшие хлебный паек,
До белизны напряженные
Тонкие корни.
А для лопаты
Земля необычно мягка
После окопов
И более горького дела.

Малое деревце —
Новая в жизни строчка,
Только еще оперится
Листвой не успела.
Дождик уныло
Пытается нам помешать.
Это под старость
О нем проворчим мы: несносен.
Нынче для нас
Все равно, все равно хороша
Маем пропахшая,
Послепобедная осень...
Все справедливо:
Окопов разгладился след.
Саженьцы наши,
А вы не пропали без вести.
Девочка спросит:
— Ой, сколько же тополю лет?! —
Я отвечаю.
И мы удивляемся вместе.

ХИРУРГАМ САНБАТА

Над болью, куда уж выше,
Парить накануне тьмы...
Воскресшие, воскресивших
В лицо не видели мы.

Они склонялись над нами,
Чтоб вызвать в последний бой.
Еще не память — предпамять
Они возвращали → боль.

С высот заоблачных в пропасть —
Такие вот виражи.
А вышло, что пропасть — пропуск
В госпиталь — значит, в жизнь.

Теперь наша жизнь вторая
Под знаком твоим, санбат.
Родителей не выбирают,
Родителей благодарят.

Не часто.

Чаще под старость,
Глядя в лицо судьбе...
Во всем, что после досталось,
Не сами мы по себе.

* * *

Когда мои друзья-искусствоведы
Заводят речь о воспитанье чувств,
Страшусь изобретать велосипеды,
Внимаю и почтительно молчу.
Им знать дано, где ново, где вторично,
Как обращаться с гаммой цветовой,
Чтоб вызвать кистью запах

земляничный

И — если надо — дым пороховой.
А я гляжу на выписанный бруствер,
На красный глаз сверлящего ствола.
И думаю: пройдя через искусство,
Боль нестерпимой быть и не могла.
Не для того чем дальше, тем яснее
Мы нашу юность видим сквозь года.
Пусть копии с нее висят в музеях,
А подлинники с нами навсегда.

* * *

— Им морковкою только
похрустывать.
Да сандалями травушку мять.
Не сподобиться, не почувствовать
Городским, что земля —
благодать.

...Довоенное солнце.

Шувалово.

Старичок.
Бороденка — на трость.
Промелькнуло. Забылось.
Да мало ли
Мимо памяти пронеслось.
Пронеслось, чтобы после у Пулкова
Под отчаянный скрежет лопат
Стариковское слово аукнулось

Тот шаг через мостик хрупкий —
Труднейший из наших шагов,
Мы — памятники хирургам
Сороковых годов.

И не в упрек кому-то: ты там не был.
И неизвестно — выдержать ли смог.
Грустит в витрине тонкий ломтик
хлеба —
Из декабря блокадного паек.

Не пропуская смертную остуду,
Спасительное время пролегло.
Мы, только мы глядим на хлеб оттуда,
А не через музейное стекло.

Лиловый хлеб, он был, конечно,
горьким,
Наш невесомый, наш сладчайший хлеб.
Но это тоже копия.

И только.

А разговор о подлинном нелеп.

Удивительно невпопад.
Солнце прыгало пламенным мячиком
И закатывалось в пыли...
Сколько после перелопачено
Горевой, фронтовой земли.
То холмом возникала, то бруствером
Самодельная наша броня.
Кто же мог ее лучше почувствовать,
Кто же мог ее лучше понять.
Жизнь спасенную солнышко празднует,
Ребятишек походка легка.
Что ж ты выплыла, неотвязная
Интонация старичка.
Зря глазами колючими рыскаешь,
Мы сподобились, не жалея.
Так к земле оказались близко мы,
Только павшие ближе к ней.

Родился в 1918 году. Участник Великой Отечественной войны. Награжден двумя орденами Славы, тремя медалями «За отвагу». Инвалид войны. Живет в Иванове.

Печатался в журнале «Юность», в альманахе «Поэзия», в коллективных сборниках «Звезды над Волгой», «Волжский причал», «Любитель природы», «Добро пожаловать».

* * *

Дороги: буераки и отроги,
Леса и степи — отроду влекло!
Я припадал к земле, раскинув ноги,
Земля тянула из меня тепло.

Она моим теплом меня же грела —
Праматерь, а тебе родная мать.

* * *

В Шёндровке застряла пушка наша,
Не берут ни кони и ни ГАЗ,
Бурый вол поел солдатской каши
И косит в упряжке грустный глаз.

Ну и велика живая сила!
У вола изгорбилась спина,
Пушка грязь лафетом размесила,
За селом ждала ее война.

* * *

Лишь того по-земному приемлю,
Кто в неблизкой терзался дали,
Кто берег свою русскую землю
И не мыслил себя без земли.

⚭
Сам пахал ее, серую, черную,
И последним зерном засеивал

Душа моя, ты добротою зрела,
Другим тепло училась отдавать.

Душой трудился,
Гнул работой спину,
Не уходил и от чужой беды.
И каждая прожитая година
Была как бы оплатой за труды.

Нам сказал мужик: «Вола зарежьте,
Выполнил, не сдали тормоза!»
Словно смерть почувал вол,
сердешный...
Мы глядели в грустные глаза.

Вол ведь тоже проявил отвагу —
А была б свежина неплоха!
Мы не стали убивать трудягу,
Не хотели на душу греха!

И траву избалованно-сорную
Из земли тяжело вырывал.

Никогда не признаю такого,
Кто покажет мне скуку лица,
Кто готового счастья подкову
Получил от деляги-отца.

Родился в городе Шахты Ростовской области в 1916 году. Окончил Шахтинский горный рабфак, Ленинградский энерготехнический институт имени В. И. Ленина. Принимал участие в боевых действиях Ленинградского, Волховского, 2-го Прибалтийского и 2-го Белорусского фронтов. Четырежды ранен. Работал преподавателем в Ростовском-на-Дону радиотехникуме.

СЛЕД

И то, что был я молод и порывист,
Но, не теряя власти над собой,
Ни на вершок сомнительный не вылез,
Не заскочил ни перед чьей судьбой;

И то, что, свой передавая опыт,
Не подавлял я им ученика;
И то, что я протопал пол-Европы,
Но не басил об этом свысока;

И то, что был я скучным инвалидом,
Своих походов прерывая счет,—
Все так и шло. И никаких там видов
Я не имел на будущий почет...

Ведь то, что в Ленинграде я испытан
В рядах блокадных сверстников своих,
И то, в чем я был Родиной воспитан,
Дойдет и так до правнуков моих.

ТРИ ЦВЕТА

И дуб, в предчувствии конца,
Дрожит ветвями, скорбный.
С него не листья, а сердца
Срывает ветер черный.

Когда увидите, что я
Зашел на круг прощальный,
Оденьтесь в черное, друзья,
В наставший день печальный.

Есть цвет телесной чистоты,
Цвет звезд заиндевелых,
Бинта стерильного, фаты
И цвет испуга — белый...

Свисал из вражьего окна
Последний стяг — покорный...
То были нашей времена
Виктории бесспорной.

Бескомпромиссной цвета нет,
Чем зрелый цвет природы,
Ее любимец — красный цвет,
Цвет чести и свободы.

Не брал я ради красных фраз
У красок цвета крови...
Я видел, как она лилась
Под крик планеты вдовий.

* * *

Еще вчера на нас дышали ели,
Пушистые от комлей до вершин.

Еще вчера над нами голубели
Вместилища безоблачных глубин.

* * *

Скажи, душа, что ветер стих,
Две-три волны подняв на море,
И среди скал береговых
Слагает песню на просторе;

Скажи о том, что в тучах брызг
По вкусу горечи и соли

* * *

Скупая на безоблачную радость,
Нас школила, не уставая, жизнь.
Не все у нас как надо получалось,
И мы не все у жизни удались.

И если я, очнувшись спозаранку,
Сам у себя же обнаружу вдруг

* * *

В сосновых берегах
Раздольная вода.
Слова в твоих устах
Приветные всегда.

Недолгий летний дождь
В реке не тронет дна...
До глубины поймешь
Лишь ты меня одна.

Он узнает и страх и риск
Очередной кипучей доли;

Еще скажи, что даль светла,
Хоть век и яр и быстротечен;
Дай знать, что ты уже взошла
Из океана русской речи...

На сердце только орденскую планку,
А на уме лишь перечень заслуг,

Из-за чего не вижу рядом брата,
Не знаю, чем душа его полна,
То тут не школа жизни виновата,
А просто мне, выходит, грош цена.

Прозрачный солнца луч
Содержит семь цветов.
Твой взгляд как будто ключ,
Он мир открыть готов...

Не верь, что все пройдет!
В метель, в туман и в зной
Неволен небосвод
Над вечною весной.

Когда они приходят к нам с востока,
С отлогих гор и пойменных долин,
Я чувствую в их ласковых потоках,
Как дышат Обь, Урал и Сахалин...

А если юг, собрав жару пустыни,
Сухим теплом лицо мое прошьет,
Я чувствую янтарный запах дыни,
Что Бухара мне солнечная шлет...

Холодный Север, щедрый на уколы
Летащими кристаллами крупы,
Нам не мешает двигать ледаколы
И есть в пургу полярные супы...

* * *

Я не беру с собой в тайгу
Свинец и порох.
Стрелять в природу не могу.
Медведь мне дорог.

В конфликте с ним сведу к нулю
И рев, и крики.
Ему я лучше уступлю
Куст голубики...

Сохатый вдруг покажет нрав,
Шутить изволя,—

А ветры запада подуют ненароком,
Гоня по небу черных туч гряды,—
Я весь опять в далеком-недалеком
Все в том же одуряющем чаду.

Нет, не Атлантика с дождями виновата,
Что льется дум встревоженных струя,
Что на багровом западе распята —
На дне окопов — молодость моя...

Я отвлекусь от темных линий спектра,
Во имя просветления души.
Бушуй, Атлантика! Бушуйте, пойте,
ветры!
Вы все, вы отовсюду — хороши!

Да вон кругом заслоны трав,
Тайга и воля!

И даже волка, пусть хитер
Он и нахрапист,
Заворожит лихой костер:
— Любуйся, братец!..

Иду спокойно в глушь, в тайгу
И сплю на лодке —
У мира звездного в кругу,
В его середке.

ИМЕНА НА ПОВЕРЬЕ

ЖИЗНЬ КАК СВЕТЛОЕ ОЗЕРО

Более сорока лет тому назад в битве на Курской дуге младший лейтенант Советской Армии, осетинский поэт Хазби Калоев сгорел в танке, защищая Отчизну от фашистского нашествия. Было ему в то время всего двадцать два года...

Бережно хранимые друзьями погибшего поэта, остались стихи, в том числе и написанные на фронте. И свидетельствуют они, что наша многонациональная советская литература потеряла крупного поэта, голос которого уже в двадцать два года был сильным, чистым и самобытным.

Известный осетинский поэт Ахсар Кодзати так писал о даровании Хазби Калоева: «Талант Хазби развивался удивительно быстро. За какие-нибудь два-три года его творческий почерк изменяется до неузнаваемости. Крепнут, мужают, закаляются жизнейстойкие победы его поэзии. Голос поэта становится все более звучным и — что особенно важно — все более самостоятельным. Так самоочищается от ила, от всего чужеродного стремительная горная река. Теперь Хазби Калоев решительно восстает против тех, кто, подобно луне, лишь отражает чужой свет. Быть солнцем, опалая собственным огнем и светом — вот образ, достойный поэта.

Вдвое больше, чем от своих поэтических братьев, Хазби требовал от себя: «Впрочем, что я есть?.. Знаю, очень скоро стихи мои покроются пеплом забвенья, а потому прошу Осетию: пусть никто не назовет меня поэтом».

Беспощадность поэта к себе, к своему таланту, неистовость в работе приводят его все к новым и новым успехам.

Слово под пером Хазби обретает как бы дополнительную, эмоциональную силу. Поэзия его наполняется своеобразным звучанием. Простой пример. Создавая картину сельского вечера, поэт слову «шум» дает определение «усталый», а луч закатного солнца кажется ему «остриженным». И в том и в другом случае создается образ в равной степени точный, свежий и необычный». И далее: «Муза Хазби хорошо чувствует боль и радость всего живого на земле. «От твоих мук, от твоих жалобных криков изнемог я», — обращается поэт к птице, заключенной в клетку. У него такое чуткое, трепетное сердце, что он краснеет за тех, кто заточил птицу в клетку, и дарует ей свободу».

Особо следует сказать о стихах, написанных Хазби Калоевым на фронте и во время учебы в 1941—1942 годах в Камышинском танковом училище. Для них характерно мужественное восприятие войны, совершенно лишённое ложного ура-патриотизма и настроения на легкую победу. Зрело и мудро пишет Хазби Калоев о войне как о тяжелом испытании для всего нашего народа, пишет о силе врага, но эта сила не вызывает страха, а, напротив, способствует нарастанию мужества, подлинного бесстрашия, желания победить, готовности пожертвовать своей жизнью, лишь бы за нее враг заплатил сотнями своих жизней, лишь бы пришла к нашему народу конечная победа в тяжелой борьбе. Еще в июне сорок первого он видел, что над небом Родины «Уже взошла пятиконечная звезда, Черные тучи пронзила лучом...».

ХАЗБИ КАЛОЕВ

(1921—1943)

ЛИВЕНЬ

Буркой туча —
я не рад —

Вдруг разбушевалась.
Пробивает листья град
Толщиною с палец!

В страхе замерла земля
От глухих раскатов.

Льются воды на поля
С черных скал покатых.

Суетливый ветра вой,
Ливень нарастает.
Лес огромной головой,
Словно конь, мотает...

1939

* * *

Вдалеке истаял город,
И назад бежит земля.
И встают виденьем горы,
Облаками шевеля.

Паровоз не сбавил прыти —
Мчит рысистее коня.
Тянут две железных нити
До Осетии меня.

1940

* * *

Когда порой, в ночи бессонной,
Твоя мне видится коса,—
С ресниц деревьев утомленных
На землю падает роса,—

Тогда я думаю одною
Тревожу пасмурную тьму:
Найти окно твоё родное,
Скользнуть росинкой по нему!..

Сентябрь, 1941,
Камышин

* * *

Что прѳжил — недостойно сожаленья,
Как водопад, что орошает дол.
Я, может, завтра должен пасть в
сраженьѳ, —
Но только гордо — камнем — как
орел!

Я лиру там, в горах своих, оставил —
Уж не припомню, какова на вид,—
И, как орел, крыла свои расправил,
И жду мгновенья — буря налетит!

Сентябрь, 1941,
Камышин

* * *

В свежих росах
день не показался.
Вран голодный
кружится вдали.
После боя я в живых остался —
Плачу
и целую грудь земли.
Не стони — душа переболела...
Выпас весь — покошен наповал.

Лишь мое
мальчишеское тело
Ливень пуль кошмарный миновал.
Не стони, земля, на лихолетьѳ!
На востоке —
день красноволос!
С листьев росы
стряхивает ветер,
И кроваво светят капли рос...

1943,
Калининский фронт

* * *

Лунный пепел играет в хрусталиках снега,
Шерсть деревьев на землю, под ноги летит.
Мне доверили
Степь защитить от набега.
Я не в страхе дрожу —
только сердце болит.
Воеет адский огонь
фронтвою музыкой,
Загораются тучи
от пламени крыш.
Я — безумец, я верую: в битве великой
Мимо — черная пуля —
опять пролетишь!
Полосою дорога теряется в млечном —
То ли кончится здесь,
то ль еще далека ...

всегда в пути



Рис. Г. Георги

* * *

В этом году известному советскому поэту Александру Жарову исполнилось 80 лет. Его комсомольская юность поистине легендарна. Участник I съезда Советов, Александр Жаров слышал выступления Ленина, был знаком с Маяковским, Есениным. Он является автором многих произведений, полюбившихся читателю.

Всенародное признание получили такие его стихи, ставшие песнями, как «Взвейтесь кострами!..», «Не пытать земному шару!», поэма «Гармонь».

Поэт постоянно находился как бы на самой передовой своей эпохи: он с теми, кто строит, борется за мир, защищает Отечество от врага, отправляется в космические дали. Может быть, именно поэтому так достоверно, так актуально звучат его стихи, похожие на поэтические репортажи с места событий, из самых горячих точек XX века. Острая публицистичность, страстность, молодой задор — вот характерная черта лучших стихов поэта. До самой смерти он, несмотря на свой возраст, в гу-

ще событий, среди молодежи, среди своих читателей: то он выступал на телевидении, то на радио, то на ударной стройке, то в передовом трудовом коллективе.

Многие годы Александр Жаров занимался одним из самых боевых жанров публицистики: он автор десятков колких лаконичных подписей к политическим плакатам, оружием острого пера борясь с авантюристами из Пентагона, готовящими новую войну, разоблачая сытость и безразличие империалистов к нуждам народов, хищническую психологию представителей военно-промышленных комплексов Запада и США.

Голос старейшины советского литературного цеха был молод, энергичен, жизнеутверждающ. И новое поколение сегодняшних молодых читателей находит в стихах Александра Жарова ритмы и мысли, созвучные молодым, по-корчагински беспокойным сердцам.

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

НА ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ

Москва, обновленной России столица,
В тот день
Собиралась встречать Новый год...
Куда-то неслась, грохоча, колесница
С Большого театра,
Со снежных высот,
Неслась
Не одна колесница к вокзалам,
К гостям,
Прибывающим с разных сторон.
В метельном тумане она исчезала
И вновь подымалась на белый
фронтон.

А там, за стеною,—
Ребята с «Трехгорки» —
Об этом еще не забыто небо —

Стояли на самом верху, на галерке.
И мне там

По счастью побыть довелось.

И я вместе с ними,
Друзьями моими,
На сцену глядел
И на пестрый партер,
Когда поздравлял делегатов

Калинин

С чудесным рождением СССР.

Сквозь радостный шторм
Бесконечных оваций
На всех языках

Я услышал слова

О том, что столицей нашего братства
Отныне становится город Москва.

НЕ ПЫЛАТЬ ЗЕМНОМУ ШАРУ!

Песня

Всей Земли народ
Пусть тревогу бьет:
Будем мир беречь!
Встанем, как один,—
Скажем: не дадим
Вновь войну зажечь!

Припев:

Мы за мир! И песню эту
Понесем, друзья, по свету,
Пусть она в сердцах людей звучит:
Смелей, вперед за мир!
Не бывать войне-пожару,

Не пылать земному шару!
Наша воля тверже, чем гранит.

Есть у нас наказ:
Строй народных масс
Дружбой укреплять,
Чтобы не могли
Изверги Земли
Голову поднять!

Наших сил не счесть,
Мы стоим за честь
Братства и труда.

Наш заветный знак,
Всей Земли маяк —
Красная звезда.

П р и п е в:

Мы за мир! И песню эту
Понесем, друзья, по свету,
Пусть она в сердцах людей звучит:
Смелей, вперед за мир!
Не бывать войне-пожару,
Не пылать земному шару!
Наша воля тверже, чем гранит.

ВЕРНОСТЬ ОТЧИЗНЕ

Глубокий поклон мой
Лесам и долинам,
Морскому приборю,
Что плечет вдали,
Народу,
Который назвал меня сыном!
Великой советской земли!

Гордясь
Возвышающим именем этим,
Я вместе с другими
Тружусь и расту...
И зной, и прохлада,
И стужа, и ветер
Находят меня на посту...

Глядел я бесстрашно
В лицо непогоде,
Суровые, хмурые видел края
Но где бы я ни был —
На стройке, в походе,
Со мною —
Отчизна моя.

Она научила меня
Не сдаваться
Нигде, никогда,
Никакому врагу...
Живительный воздух
Советского братства
Я в жаркой груди берегу.

ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ!

(Из стихов 1928 года)

Опасен грохот в кузницах войны,
Угроза человечеству серьезна.
Но люди
Падать духом не должны —
Предотвратить беду еще не поздно!

Я верю: дрогнет и отступит тьма
Под натиском спасительного света.
Плечом к плечу! —
Сегодня жизнь сама
Настойчиво подсказывает это.

ПЯТОЕ АВГУСТА, ПЕРВЫЙ САЛЮТ

Снова вижу свой московский дом,
Он сегодня посветлел как будто,

Радостно встречая первый гром,
Первый гром осеннего салюта.

Добрый грохот, бьющий по врагу,
Оглашает всей страны простор.
На Орловско-Курскую дугу
Я с волнением устремляю взор.

Подвигу бойцов ее хвала!
Здравствуй, долгожданная минута,
Та, что нам в подарок принесла
Первый гром победного салюта!

Над Москвою небо засияло —
Значит, наша русская дуга

ОДА УРАЛУ

Урал любовью нашей выбран
Не наугад —
при свете дня.

Он молнией
Из камня вырублен,
Из стали создан
И огня.
Когда Уралом сталь варилась,
Которой не было прочней,
То эта прочность
растворилась
В крови сынов и дочерей.

Беспощадно стиснула и смяла
Силу ненавистного врага.

Значит, нашей Родины края
Могут с облегчением вздохнуть —
К логову фашистского зверья
Под Орлом намечен верный путь...

Впереди еще — пора зимы,
Бушевать военной вьюге круто,
Но с надеждой слышим мы
Первый гром победного салюта.

И может быть,
не потому ли,
Что здесь надежны небеса,
Так доверительно прильнули
К заводам
Синие леса...
У той задумчивой таежности,
У Камы в голубом огне
Уральской нежности,
надежности
Еще всю жизнь учиться мне.

Родился в 1927 году на Смоленщине. Окончил Пермский государственный университет. Автор десяти книг стихов, в том числе «Избранное» (Пермское книжное издательство, 1977) и «Уральская лирика» («Молодая гвардия», 1982). Живет в Перми.

КОМСОМОЛУ УРАЛА

В цехах, у станков, у мартенов
Рабочая юность встает.
Твоя начинается смена,
И твой наступает черед!
На плечи, почти что ребячьи,
Нелегкою ношей легли
И взрослые века задачи,
И взрослые думы земли.
Хлеб вызрел. И сталь закипела.
И вышли на Каму плоты...

Но самое главное дело —
Которое делаешь ты.
У будущих дней на примете,
Ты вырос в уральском краю.
Ты, как за Россию, в ответе
За эту работу свою.
Ты должен судьбу свою смело
С Россией навеки связать:
И нужное выполнить дело,
И нужное слово сказать!

ПРИКАМСКАЯ ВЕСНА

Гремя на реках льдинами,
Погодкой красна,
В Прикамье наше хлынула
Лучистая весна.
Вновь небо в Каму выльется,
И в сквере городском
Листочек первый выбьется
Зеленым огоньком.

Ударить ливнем ó землю,
Соловухой звенеть
И шелковистой озимью
В полях зазеленеть...

Не ради славы-почести,
А юности под стать
Апрелю очень хочется
Веселым маем стать:

Моей любви ровесница,
Весна, счастливый путь!
Цвести тебе, невеститься
В черемухе по грудь...

Опять ты сердце сдвинула,
Взбурлила жизнь до дна —
В спецовке неба синего
Уралочка-весна!

* * *

Н. С.

Как резко вдруг похолодало!
И клены стужей сожжены.

И словно лета не бывало,
И словно не было весны.

Глядишь на листья неживые,
Что лишь вчера тянулись вверх...

Не то — встречаешься впервые,
Не то — прощаешься навек!

СПАСИБО ЖЕНЩИНЕ

О, сколько таинств в женщине таится —
Светла, как звезды,

как земля, щедра.

Спасибо ей за подвиг материнства,
За дар любви и торжество добра.

Еще зима. Еще на сердце зыбко
От замяти, от вьюжной маеты.
Но женщины весенняя улыбка
Нам возвращает солнце и цветы.

Во всех тревогах атомного века
Всей жизнью, женской сущностью

своей

Ей должно верить в Разум человека —
Иначе ни к чему рожать детей!

Она везде, на Темзе иль на Каме,
В извечной дружбе с мирною весной.
И, как ребенка, обняла руками
Весь этот беспокойный шар земной.

ДОВОЛЬНО!

Шар земной столетия в муках мечется,
Век за веком —

войны, войны, войны...

Так возвысь свой голос, Человечество,
Гневно войнам ты скажи:

— Довольно! —

Парни в Бонне или Алабаме,
Разве это вам

нужна война,
Чтоб невесты мертвыми губами
Ваши

прошептали

имена?

Но опять

войны кровавый остов,

Как игрушку,

нянчит Пентагон.

О Гренада!

О ребенок-остров!

Как тебя —

на горло сапогом!..

Воля и решимость,

проявитесь

Там, где к войнам

ненависть жива.

К разуму

народов и правительств

Снова обращается Москва.

Дальний друг!

Скажи своей невесте,

Что нам в Маршах мира — по пути,

Что Земле

покой и равновесие

Мы еще

поможем

обрести!

У СЕЛЬСКИХ УЧИТЕЛЬНИЦ

Молчаливо и чуть растерянно,
Словно что-то оставил тут,
Я стою

у высокого терема,

Где учительницы живут.

Нет ни сада, ни огородика,

Ни пуховых перин про запас —
Только ласковый смех

да родинка

У раздумчивых добрых глаз.

Ходу нет в это царство девичье

Деревенской густой тоске:

Родился в 1927 году в Ташкенте. Окончил Среднеазиатский государственный университет. Работал в геодезических партиях, был журналистом, учителем.

Первая книга стихов «Кратчайшие пути» вышла в 1969 году. Затем выходили книги стихов и прозы: «Алмаз», «Солнечные часы», «След стрелы».

ОКРАИНА

Кому довелось
Походить по свету,
Тот не потерянный человек,
В селеньях,
Которых на карте нету,
На берегах знаменитых рек.

Украина!

Мы твои работяги,
Солдаты,
Строители,
Ученики,
Где солнце за трактором
Выйдет на тяге
И ржавая тень
Уползает в пески...

ЦЕЛИНА

Есть в сердце боль земной пустыни,
Я видел дикий край земли,
Пропахший запахом полыни,
Курганы, степи, ковылы.

О, как гремели эстакады,
Шли поезда до целины.
Разноязыкие бригады
Сошлись со всех концов страны.

Там, где раздолие отарам,
Где до зари встречают день,

Орлиная скользит по травам
Бесшумная большая тень.

И все, кто оказались рядом,
Встречались словно земляки,
Обмениваясь добрым взглядом
Или пожатием руки.

Там не было поэм о хлебе,
Лишь повседневные труды,
Лишь свет степного солнца в небе
И тень от первой борозды.

ТЕАТР

Мы в гарнизоне
Ставили Шекспира,
Такой у нас
Был творческий досуг.
Там чье-то рубище,
И здесь порфира! —

И все вокруг
Преображалось вдруг.

В горах безмолвны
Скалы и дороги,

Безмолвны пропасти
И небеса.
И я в пути читаю монологи,
Один —
На все живые голоса.

Ни декораций нет,
Ни пестрых платьев,
Но ты скажи, переступив порог:
«Я вас любил, как сорок тысяч
братьев!» —
Чтоб этого забыть никто не мог.

СТАРЫЙ ОХОТНИК

Страховой агент
Помешивал ложечкой чай с лимоном
И слушал медленную песню старого охотника
На веранде гостиницы в горах.
Охотник пел обо всем, что видел в пути:
Об умной лисице,
Которая обошла капкан,
О старом друге,
Который подарил ему новое ружье,
О верном коне,
Который знает дорогу
Лучше любого следопыта...
— Понимаю,— сказал страховой агент.—
И таким образом он пытается преодолеть
Свое одиночество?

Старый охотник перестал петь,
Посмотрел на страхового агента и сказал:
— Брат мой!
Откуда ты взял, что я одинок?

* * *

Я не был в школе много лет,
И вот вхожу я в класс,
Где детских лет не стерся след,
Все так же, как при нас.

Осенним утром в сентябре
Волнуются слегка

И старый тополь во дворе,
И в небе облака.

Здесь нет для нас чужих вестей,
И мы в конце концов
Похожи на своих детей
И на своих отцов.

ВОЗДУШНЫЙ МОСТ

Двадцатый век!
Где есть беда,
С надеждой смотрят в небо.

Воздушный мост,
Ты был всегда
В цене огня и хлеба.

Известный советский поэт. Родился в 1915 году в Петрограде. Участник Великой Отечественной войны. Автор многих книг стихов и прозы. Живет в Ленинграде.

* * *

За путями железнодорожными,
Там, где шлак и сорная трава,
Назначайте встречи невозможные,
Верьте в позабытые слова.

Спят вагоны — все свое отъездили,
Не придет за ними паровоз,
Искоркам веселыми созвездьями
Больше не лететь из-под колес.

Там цветами робкими и маленькими
Порастает между шпалами песок;

Кладбища заброшенного памятники
Позабыли, кто под ними лег.

И осины шелестят унылые,
И на старый ржавый семафор,
Как мальчишки, ангелы бескрылые
Смотрят сквозь проломленный забор.

А вдали спешат по назначению
Гулкие электропоезда,
И на небесах звезда вечерняя
Молода, бессмертно-молода.

ОСТОРОЖНЫЙ

У мирного домашнего огня
Со мной присядьте на закате дня —
Об Осторожном послушайте басню.

Он для себя построил прочный дом,
Один, один он поселился в нем —
Ведь одному живется безопасней.

Грабителей он ждал со всех сторон,
Поэтому стальные брусья он
Вмонтировал в оконные проемы;
Он врезал в дверь четырнадцать

замков,

Чтоб от двуногих оградить волков
Свои единоличные хоромы.

Казалось бы, от всех дурных гостей,
От всех воров, от всех плохих вестей

Он защищен среди своего уюта...
В тот вечер спать он преспокойно лег,
Но выпавший из печки уголек
Бедняга не приметил почему-то.

Он был разбужен дымом и огнем
И понял, что покинуть нужно дом,
Что на учете — каждое мгновение...
Но не сумел он выйти за порог,
Поскольку дверь открыт никак не мог:
Ключи он перепутал от волнения.

...Тогда решил он выпрыгнуть в окно,
Он выломать хотел решетку, — но,
Внося в вопрос итоговую ясность,
Скажу: когда бы ожил мой герой,
Он сам бы вам признался, что порой
Чрезмерная опасна безопасность.

ЦЫГАНСКИЙ НАПЕВ

От грез меня обезопасьте! —
Я мудрых на помощь зову...
Бездомное, смутное счастье
Мне снится опять наяву.

Зачем я, ответьте, скажите,
В какую поверив звезду,
Потомственный северный житель,
За пыльным рыдваном бреду?

Легла сквозь осенние тучи
Дорога в неведомый край —
В цыганский кипучий, певучий,
Неорганизованный рай.

Как бы из иных измерений
Доносится хриплый напев,
И тают снежинки мгновений,
Коснуться земли не успею.

И песня струится по жилам,
Бродяжит и плачет со мной,
Как будто мне сердце прошла
Цыганка гитарной струной.

Родился в 1923 году в Горьковской области. Со школьной скамьи ушел на фронт. Автор книг «Поспевают ягоды», «Половодье» и многих других.

Лауреат Всесоюзного конкурса имени А. Фадеева.

* * *

Березы ласковыми снами
Мой оведают сеновал —
Они меня мальчишкой знали,
А я их девочками знал.

Березы сделались седыми,
Они стары, они грустны,
Остались только молодыми
Их розовеющие сны.

ЦВЕТЫ

Тихохонько упрятались в кусты,
Туда, где к вербе ивина
прильнула,—

Цветы своей стыдятся красоты,
И потому стоят они понуро.

ВЕСНА

Явила лик свой, солнечно явила,
На снежную склонила белизну.

Не поленился, отдышал Ярила
Свою оледенелую слезу.

* * *

У щечбучущего воробья,
У его души прошу прощенья...
Свой бродяжий посох возлюбя,
Покаянья жажду, очищения.
Верую — очистится душа,
Ласковая прослезится вербина,

У возвышенного шалаша
Засияет празднично, серебряно.
Кто-то вдруг избавится от бед,
Тяжкие забудет горести,
И возрадуется воробей
На моей оттаявшей подгорице.

* * *

Все мы возвращаемся к своей
Все равно — березе иль осине.
Обжигает душу суховея,
Суховеи ходят по России.

К моему приблизились коню,
К блеклому взлетели
поднебесью,—
Убивают прямо на корню
Незабудки утреннюю песню.

Родился в селе Раменье Волоколамского района Московской области в 1925 году. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Московский областной педагогический институт. Работал кузнецом на заводе «Динамо».

Автор книг стихов «Солнце над цехом», «Поступок», «Затяжной прыжок» и других.

* * *

В белоснежной одежде (кузнечная роба),
Каковую на праздник труда надевал,
Стану снится ночами во снах хлебороба,
Потому что светлее одежд — не знавал.

Есть что вспомнить: дышал, удивлялся, сражался
Не за страх, а за совесть — удал и здоров...
По завязку я в кузне своей надышался
Неподдельным озоном железных ветров.

Как ни мяли меня, как меня ни месили
Пуансоны годов, челюстями хрустя,
Каждой порою тела я чую, что в силе
Жить достойно, о прошлом не шибко грустя.

Только так... А упреков ничьих не приемлю:
Мол, опять сплошняком про земные дела...
Мне не смочь равнодушно топтать эту землю,
Коль погибель над ней расправляет крыла.

Я не дам ей взлететь над планетой людскою,
Где во ржи — обелиски, в садах — ребяшня...
Пусть до смертного часа не знать мне покою
В распорядке железном рабочего дня.

На корню да усохнут коварство и злоба.
Только так... А потом возле пресса ничком, наповал,
В белоснежной одежде (кузнечная роба),
Каковую на праздник труда надевал.

* * *

Давным-давно могиле братской
Мальчишечка принадлежит...
За шестьдесят

Вдове солдатской —
Как быстро времечко бежит.

Вот позитив:
Косоворотка,
А над бортами пиджака
Нечеткий очерк подбородка
На постаменте кулака.

Торчит из-под шикарной кепки
Прически кучерявый клок...

* * *

Чужому счастьем рад,
А счастье — что оно?
Прошедший мимо град?
В цветущий сад окно?

Найдется сто причин
Сражаться за него...
У счастья — сто личин,
А лик — один всего.

Мы спорим, в перси бьем:
«У каждого — свое!»
Возьми его живьем,
Найди ему жилье.

Ни лаской не пронять
В светелке золотой,
Ни таской не донять
В халупе холостой.

* * *

«Дождь идет»... Пластинку эту —
Не умею без слезы...
Пошатался я по свету
В пору вёдра и грозы.

ПВХО на тонкой цепке
И «Ворошиловский стрелок».

Сереет фото, чуть старея,
У низковатого окна...
Сорокапяток батарея
Стальным тараном сметена.

В избе ли старой,
В доме ль новом
Все ж уцелели образа:
Глядят в глаза солдаткам-вдовам
Солдат-мальчишек глаза.

...Пройдя свинец и тол,
Ты сеял рожь и жал,
За хлебосольный стол
Прохожего сажал.

Точил, зажав в тиски,
Ты лемех голубой...
Стучала кровь в виски —
О волнорез прибор.

Отвалов блеск знавал
Надежно и давно.
Загля не тосковал:
«А счастье, где ж оно?»

Случится ли? Бог весть.
Не стань ему врагом...
Есть счастье, счастье есть —
Пусть не в тебе, в другом.

Задохнувшееся танго —
Словно детства соловьи...
Подо мной четыре танка
Пали — коники мои.

Пригинало,
Приминало,
Было оземь тяжело...
Привыканье к люминалу,
Говорят, большое зло.

Не поможет ни сивуха,
Ни дрянной денатурат...

* * *

Замшелый колодец без капли воды
Всего только яма,
Провал безобразный,
А был он когда-то с водою прекрасной,
С медлительным блеском алмазной
звезды.

* * *

В черноте ночей иль средь бела дня,
Я прошу тебя, ты имей в виду:
Приходи ко мне, позови меня —
Предрассудков чужд, за тобой пойду.

Им нельзя не быть, чудесам земли,
Ибо нет преград для любви земной...
Осчастливь меня и душе внимли:

Голова моя — два уха
Одурела от утрат.

Может быть,
В забвенья канув,
О себе радеть, родном?
«Дождь идет»...
У ветеранов
Плечи ходят ходуном.

Завалят щебенкой,
И дело с концом.
Пешней утрамбуют, катком укатают,
Но льдинкой весенней звезда
не растает
Над бывшим колодцем,
Над сгнившим венцом.

Каждый день иль час
Приходи за мной.

Станет петь для нас соловей-солист —
Все о нашей он золотой любви...
Жаль, что влет летит
Тополиный лист
Да пошел гулять
Холодок в крови.

* * *

Твоя любовь... Она меня страшит:
Как будто я из «шмайссера» прошит
Струей свинца,— душа уходит в пятки...
Я был в огне и около огня
И вижу, что ты смотришь на меня
Совсем как сквозь прицел сорокапятки.

А я не танк, к тому же — не чужой,
И только грусть в душе и за душой —
Иной цены себе пока не знаю...
Всю жизнь свою у вымыслов в долгу,

Тебе я омерзительно солгу,
Коль назову тебя «моя родная».

Была и есть, пускай не рядом, но
Не верю, что ушедшей все равно,
Как я храню любви своей обеты...
Прости — не научился предавать,
И мне с высокой горки наплевать
На результаты «пирровой победы».

Самонадеян? Нет, скорее стар.
К чему он нужен, лобовой удар
В районном тире или в пустой квартире?
Я, может, зря заговорил про страх,
Когда не превращается во прах
Любовь, что лишь одна бессмертна
в мире.

* * *

Я посетил последний твой приют...
По клеверам кузнечики куют,
А на березе, что не прижилась,
Скворцы-сердяги распевают власть.

На то и жизнь, чтоб петь или ковать,
Печалиться, грустить и ликовать,
Рожать детей, страдать, пшеницу жать,
В бескрайний путь любимых провожать.

На то и жизнь... Почуй сквозь тишину,
Что я еще старательно тяну,
И ты со мной, повсюду ты со мной —
Соратницей, подругою, женой.

Прости, что не умею — соловьем,
Но каждый миг, что прожили вдвоем,
Всем существом, всей жизнью берегу,
Как поле влагу бережет в логу.

Не вышло:
Не тебе уйти, а мне...
И наяву, и в мимолетном сне
Иду с тобой по голубым овсам...
Мед или слезы по седым усам.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В руки уставшие душу смурную возьму,
Перехлестну парашютною вязкой стропой.
Жизнь продолжается...
Нужно ступать самому
(Сколько? — не знаю) единственно нашей тропой.

Всё о тебе...
Весь оставшийся век или миг.
Дышишь в затылок: «Куда от тебя я уйду?!»
Море доносит волны неотчетливый крик,
Или дрозды расшумелись в почти опустевшем саду.

Вижу влюбленных под ливневым Млечным Путем.
Жизнь продолжается...
С красной строки, может быть,
Дни, что промчались, мы честно с тобой перечтем,
Чтоб в суете ни единого нам не забыть.

Всё о тебе...
Весь оставшийся миг или век.
Может, и впрямь не уходит с земли человек?
Кактус усохший стыдливо зацвел на окне...
Вижу — сторожко идешь по озябшей стерне.

Родился в 1931 году в Ленинграде. Автор нескольких книг стихотворений и прозы, в том числе «Поиски тепла», «Возвращение в дом», «Черты лица».

ЗАВЕТНОЕ СЛОВО

В. Чивилихину

Что есть Россия?
Хмурая изба?
Фонтан березы, бьющей из пригорка?
Россия — память.
Взгляд из-под лба
сквозь дым веков
и сладостный и горький.

Что есть Россия?
Мудрая река,
всех наших сил и разумений — русло.
И мы —

ее крутые берега
в сугробах городов
и нивах русых.

Что есть Россия?
Пережат, порог,
дробящий все отжившее, пустое!
Россия — слово,
дум людских итог —
заветное, нетленное,
святое.

ГРАВЮРА

В лучах рассвета над рекой —
географическая нежность,
геометрический покой,
логическая
неизбежность.

...Храм отделился от холма
и в небо взмыл
как бы ракета!

Пейзаж остывшего ума,
ландшафт холодного рассвета.

Весь город караваном крыш
уходит ввысь — тропею странствий..
Прощай, Москва (Мадрид, Париж),
до встречи
в голубом пространстве.

О ДРУГОМ

С утра накатило —
дышать не хотелось:
все пресно, все было —
виток за витком...

Такое вином вышибают из тела,
а также — любовью!
Но я о другом...
О том, что такое со мной не впервые

Родился в 1925 году в Тбилиси. Окончил Тбилисскую академию художеств. Автор более двадцати поэтических книг на грузинском и русском языках. Это книги — «Надпись на камне», «Продолжение следует», «До востребования» и другие.

* * *

Взгляд осторожный с горячностью рысей.
К делу приучен, хотя и речист.
Счастлив представиться: Мйха Квливидзе —
Добрых намерений «авантюрист»!

Вас не смутила невнятная фраза,
Не испугали чудные слова?
Дело — надежней любого рассказа,
Только поступками совесть жива!

Что б ни писал я, о ближних радея,
Все-таки я перед вами в долгу,
Если на деле всей жизнью своею
Вам ничего доказать не смогу!..

Свойственно мне унывать без причины,
Но иногда, своенравен и прям,
Я обретаю всю доблесть мужчины,
Пылкость и смелость, любезные вам.

Завтра, хотите, в счастливую сказку
Я превращу этот горестный мир,
Сброшу с подонка приличия маску,
Любящим выкрою свадебный пир?!

Завтра, клянусь, инвалид из артели
Снежный Памир покорит и Тибет
Или, хотите, с Вано Мачабели
Силой сравняется юный поэт?!

Я вас избавлю от горя и смерти,
Дождь на несчастных пролью золотой —
Только доверьтесь мне,

Только поверьте,
Следовать только рискните за мной!..

Кажется, бабкою быть повивальной
Я для беременной жизни готов.
В чем тут вина моя? Лишь бы нормальный
Мальчик родился — красив и здоров!

Не до стихов, если рушится кровля.
Праздная нынче смешна болтовня.
Делом спасайся! Стыдись суесловья!
Дело — заглавье удачного дня!..

Дар мой непрочен, но солнцем пронизан
Мир этот бренный, и все-таки мглист...
Счастлив представиться: Мйха Квливидзе —
Доброжелательный «авантюрист»!

* * *

Подарок ли судьбы на этот раз,
Иль мне дано такое наказание —
И для того Любовь пришла сейчас,
Когда от жизни мало что осталось,
Чтобы еще больней при расставанье
С цветущим миром сердце разрывалось?!

ПРОЩАНИЕ

Памяти Л. К.

Словесные красоты не нужны —
в них память не нуждается живая...
Так мать от нас уходит, умирая,
так гибнет лучший друг в огне войны;
и если я задерживаюсь здесь,

то не живу уже,
не существую,
а приближаюсь к смерти — пусть
не весь
еще во тьме, но в тень вхожу ночную.

РАЗДАЧА ОДЕЖДЫ

Мне кажется
последние следы —
стираем
в этом доме опустевшем —
существованья твоего
Как воры —
в дом забравшись

торопливо
опустошаем
полки
ящики
шкафы —
и складываем в кучу
платья

туфли
пальто
перчатки —
все что ты
носила
в чем спала
в чем улыбалась
в чем обижалась
радовалась жизни —
все
из чего пока еще твое
сердцебиенье
теплота твоя
не выветрились —
прочь уносим
людям
чужим

* * *

Нет выбора, мой друг,
и только смерть одна,
и только смерть одна
мне дверь откроет ту,
где вновь передо мной
предстанешь ты, бледна,—
когда перешагну
незримую черту...

Растаять и оплыть
я должен, как свеча,
и вспыхнуть перед тем,
как погрузиться в ночь,

ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА

Целый год
операция длилась

В реанимационной палате —
третий день
умираешь —
родная

А до этого
помнишь:

едва знакомым
раздаем
И вот приходят —
дворничиха
уборщица
лифтерша
и каждая из них с собой берет
частичку
твоего существованья
Вот самое ужасное
прямое
свидетельство того —
что в этот дом
ты никогда
ни разу
н и к о г д а...

чтоб ласка обожгла
горячего луча,
чтоб в этой тьме тебе
хоть чем-нибудь помочь...

Я должен умереть,
чтоб в скорбном том краю
не так скучала ты.
(О, сжался, улыбнись...)
А впрочем, что ж теперь
доказывать свою
мне верность и любовь —
какой имеет смысл?

в приемной смерти —
долго сидели
в больничном коридоре —
о детях
покупках
вполголоса
говорили

Головой прислонилась к плечу моему:
«Я спокойна, когда ты со мной...»

И еще
чтоб меня успокоить:
«Впрочем, где наша не пропадала!» —
улыбнулась так жалко
«Лихом не поминайте...» —
сказала

и последнее
что я запомнил —
на прощанье
махнула рукой

* * *

Невидимая связывает нить
меня с тобой. Вот напишу строку —
и зачеркну: «А ты бы похвалить
ее могла?» — не думать не могу.

Не знаю даже, слышишь ли меня
и прежний понимаешь ли язык,
но без общенья тайного и дня
прожить не мог бы — так к нему
привык.

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

Веселый голос
просит к телефону
тебя позвать...
Испуганно,
растерянно
(как если бы
меня застигли на месте преступления)
я осторожно
спрашиваю тихо:
— Кто говорит?
— Знакомая.
— Вы разве не знаете?

Целый год
операция длилась

И вот —
совершенно выздоровев —
ты теперь
лишь во мне существуешь
и с тем же страхом
с каким операции раньше ждала
нынче выписки
как из больницы
ждешь — из памяти горькой моей.

Откуда к нам ужасная пришла
разлучница, явилась за тобой
и, как соперник, пристальна и зла,
взяла тебя, прикинулась Судьбой?

Хотел бы я понять свою вину.
Где голос твой, в какую тьму укрыт?
Вот напишу строку, и зачеркну,
и вижу, как строка кровоточит.

— ?
— Да,— говорю запнувшись,—
год назад...

И долго, долго
с трубкой телефонной
в руке
стою,
прислушиваясь
к частым,
отрывистым гудкам.

* * *

Все пишешь? И в позе той самой,
как прежде? И занят опять?

Участник случившейся драмы,
ты смеешь об э т о м писать?

В слова загоняешь усталость
и боль, и покорность судьбе.
Не жаждешь ли в ком-нибудь жалость
сердечную — вызвать к себе?

Понравится, может быть, хочешь,
горячую вызвать любовь?
Сидишь вечерами, бормочешь
и хмуришь крылатую бровь.

Пиши, коли так... Еще много
чернил. Да не будет помех!
Пиши же. Красотами слога
еще обольстил ты не всех!

Переводы с грузинского
Александра Кушнера

Родился в 1936 году в Подольске. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор нескольких сборников стихотворений.

ПАМИРСКОЕ МОЛОКО

В полночном небе звезды, как капуста,
Наполнены свечением до хруста.
Такое чудо в южной стороне
Пришлось увидеть этим летом мне.
Июльской ночью азиатский юг
Все время отбивается от рук:

Ночь надо мною, а над ночью снег —
Там день рожденья азиатских рек.
И нет вершинам днем и ночью сна...

Об этом рассказала мне луна.

* * *

Вот это настоящая работа,
Когда в пути, свой перевал пройдя,
Идешь — и только птицы от капота
Летят, как брызги крупного дождя.
Здесь облака — плохой амортизатор,
Хотя на вид воздушны и мягки,
Лишь в силу силы воли и азарта
Бросают фары в скользкий дым круги.
Они, как те колечки от сигары,

Летят шутя, хотя недалеко.
Пробить не могут огненные фары
Разлитое Памиром молоко.
В горах дорога, что там — мать
честная!
Не видно ни черта, а ты гляди...
И я лечу, хотя еще не знаю,
Что там, за поворотом, впереди...

МАК

Не в одиночку,
Сразу целым полем
Вплоть до Ташкента
Подступает мак,

Так он цветет
И полыхает так —
Огонь весны,
Пробившийся на волю.

* * *

Принес кореец лук, чеснок и рис,
Пришел с барашком молодым узбек...
И вот над пловом будущим завис

Шаман застолья, нужный человек.
Мы варим плов не часто и не так,
Как надобно хороший плов варить.

Плов варят долго, кто варить мастак,
Чтоб было всем о чем поговорить.
За пловом вспыхнет чаем пиала!

А чаепитье долгое пойдет —
Не вытащишь вовек из-за стола
Со знанием дела пьющий чай народ.

* * *

Ты скажи, Амударья,
В чем разгадка твоя?

Города, что шумели, укрыты песком,
И сама ты порою уходишь в пески.
Я с твоею историей в общем знаком,
Но запомнились мне почему-то враги...

Ты скажи, Амударья,
В чем разгадка твоя?

Ты не знаешь? В песках от меня не юли...
Ты не скажешь? Скажу утвердительно я:
Города земляки воздвигали твои,
Только в них незабытая слава твоя.
Если сказку свою не отдашь,
Мне расскажет Тахиаташ.

Так же хлопотен хлопок и так же хорош,
И напоен все той же твоею водой,
Но и нынче так просто тебя не возьмешь,
И у нас ведь нелегкая дружба с тобой.

Ты скажи, Амударья,
В чем удача твоя?

Ты скажи, ни о чем в тишине не таись,
Ну подумаешь, люди встряхнули волну...
Ради доброго дела и ты откажись
Век юлить средь песков, как тогда, в старину.

Родился в Москве в 1944 году, член Союза писателей. Окончил Высшие литературные курсы, автор нескольких поэтических книг, в том числе — «Вздых», «Снежная книга», «Высокогорье» и других.

Лауреат премии Московского комсомола.

* * *

Сносят дом довоенной постройки
в целых три обжитых этажа,
он еще упирается стойко,
в небо дым улетает дрожа...
Сносят дом, словно сносят эпоху,
что стоит за кирпичной стеной,
воздух пылью наполнен, а сбоку
подобрался бульдозер стальной.
Вот и набок стена завалилась,
штукатурка сухая шуршит,
и какая-то здесь аварийность
сквозняком бесприютно сквозит.
И свисают лохмотья обоев,
как крыла, не умея летать,
над развалом, над чьей-то судьбою,
надо всем, что успело устать...
Отжило, отошло, отдышалось,
отболело, прожгло, разнесло
по ночным закоулкам земшара
золотое людское тепло...
Доски временных перегородок,
снова облако пыльной трухи,
и уже — не воспетые в одах —
обнаженно висят потолки...
Ну а зеркальце круглое чудом
зацепилось за стойку — оно
переполнено страхом и гудом,
пыльным воздухом омрачено.
А в зеркальных беспмятных далях —
ход истории, судьбы семей,
милый смех, гимнастерка в медалях,
холод жизни и мера вещей...

МИМОЛЕТНОЕ...

Когда в больницах пили бром
и занимались чем придется,
дышало небо серебром
незамутненного колодца...
Шуршала хвоя, словно плащ,
и мрак струился, как лекарство
от боли и от неудач,
от недоверья и коварства.

* * *

В дебрях сирени, блистая хитином
и оскорбляя внимательный слух,
цепко и тупо, подобно машинам,
реет рогатый реликтовый жук...
Что ему вес бытия и свободы?
На шелестящем распятии крыл
весь он — олицетворенье природы,
темных ее и таинственных сил.
Если наш мир излучением нейтронным
будет пронзен, в назиданье векам,
Землю оставим одним скорпионам,
крысам и этим огромным жукам...
Выдержат всё неразумные твари,
переживут и потоп и пески,
но не узнают вовеки печали,
радости нашей и нашей тоски.
Ну а пока он в сирени вечерней
после дождя пред глазами на миг
в некоем археозойском свеченье
черною точкой в потемках возник.
Мечется в сумерках, нечисть живая,
вечность природы, ее торжество!
...С хрустом стекает вода дождевая
по омерзительным крыльям его...

* * *

Фасеточные вытарацив фары,
гудит мотоциклетная пчела —
красна гречиха!

Торжествуют твари,
не знающие мирового зла...

Мир насекомых!

Весело и храбро
он речь ведет на странном языке
и ускользает от слепого Фабра,
переходя в предсмертное пике...

* * *

Я не знаю, родная, отныне покоя,
крепко сплавлены правда и ложь...
Как же так оказалось возможно такое —
ты ко мне на свиданье идешь...

Здравствуй, милая, что тебе, милая, стоит
быть добрее ко мне, чем тогда,
когда в юности резало время под корень
все надежды мои навсегда...

Ты была мне нужней и бесценней всей жизни,
ну а я тебе — наоборот.
Ты торопишься. Свитер. Топорчатся джинсы.
Исковерканный нежной улыбкою рот.

* * *

За непрочное счастье слишком горькой ценою
твоя участь земная расквиталась с тобою...

Тебя мучит поныне в январе синеоком,
что не вымолвить словом и не высказать вздохом.

Певчей птицею зимней на чугунной оgrade
встрепенется бывшее о душевном разладе...

ПОЛЯНА

Давай, моя художница, рискнем —
пером и кистью, кистью и пером
ты сотвори прекрасную поляну,
где в сумерках красно от земляник,
а утром можно заглянуть в родник
и подорожник прирастить на рану.
Рисуй, моя художница, — рискуй! —
с грибами лес и поле с клеверами,
но только реактивных не рисуй —

они и так появятся над нами...
Ну, стало быть, замётано — рискнем,
об этом я просить не перестану:
всего одну прекрасную поляну,
а после мы на ней поставим дом.
У дома будут ставни и карниз,
а к фортке тихо склонится рябина,
ты не ругай меня за эгоизм —
здесь будем мы наивны и любимы.
Шершавый стол, сосновый табурет,
быть может, застекленная терраса,
чтоб красный, синий и зеленый свет,
а там уже и варится обед,
ты понимаешь, только постарайся...
Здесь можно будет осень коротать,
не торопясь на быстрые трамваи,
и можно, удивленья не скрывая,
как в детстве, в сновидениях летать.
Давай, художник милая, рискнем,
всего-то ничего — простая милость,
чтоб над поляной облако дымилось
и первый снег кружил за окном.
И можно было выбежать с крыльца,
а под ногой поскрипывает слабо
осенний снег, небесная пыльца,
как гены нерожденной снежной бабы.
Я это говорю не для забавы,
мне это все привиделось всерьез:
поляна, дом, заснежены дубравы,
а вдалеке невнятный стук колес.
Поляна, дом, веселье и мороз —
они бы нам такую жизнь дарили...
И дом, и лес, надеждами согрет,
где нас бы не терзали, не корили,
но дома нет и леса тоже нет,
ну вот, художник, и поговорили...
Но все же можно вызвать к жизни свет,
впотьмах нашарив по привычке кнопку,
и начертать поэму иль сонет,
восславив крупноблочную коробку.

ВЕЧЕР В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Заселены скворечни
Новой птичьей волной.
Вечер в Замоскворечье
Ты проводи со мной.

Ты проводи глазами
Легкие облака.
Вскоре сверкнет огнями,
Вскроюсь, Москва-река.

Как же они светились!
Стукни снежком в стекло...
Вот мы и распростились.
Кончилось. Отошло.

За два моста — и только.
Или — за Млечный Путь.
Месяца бледная долька
Высветит вечный путь.

Тот, что пролегал спасеньем
Сквозь мимолетный дым
По мостовым весенним,
Древним и молодым.

Мимо беспечных встречных
И хлопотливых птах.
Вечер в Замоскворечье —
Память о лучших летах.

ДОЛГАЯ ДОРОГА

Долга с Глухого озера дорога,
Застигнутый в пути вечерней мглой,
Я различаю очертанье стога,
Всплывающего зыбко над землей.

Туман заполняет луговину,
И ватная охватывает тишь.
Дорога опускается в низину,
Шагнешь туда, и кажется — взлетишь,

Настолько в ней туман знобящий плотен
И стоек дух поверий вековых...

Но вдруг теплом повеет от поскотин,
От валунов и сосен строевых:
Дорога — в гору...
Огоньки строений
Напомнили о доме и тепле.
Еще о том, что в смене настроений
Нет ни тоски, ни грусти по тебе...

ПОЦЕЛУЕВ МОСТ В ЛЕНИНГРАДЕ

Всегда здесь что-нибудь стрясется,
Но это — добрая черта.
Сегодня вот

настигло солнце
У Поцелуева моста.

Я шел и видел, как светилась
Зеленоватая вода,
Как празднично раскрепостилась
Большая улица Труда.

Я шел и думал: время, дай нам
Удачу, чтобы до зари

Светились на мостах свиданий
Загадочные фонари.

Не в каждом городе, конечно,
Найдется Поцелуев мост,
Но разве мало в мире грешном
Заветных мест и светлых звезд?

Нет, жизнь не будет однобокой,
Ведь светит солнце неспроста
От улицы Труда широкой
До Поцелуева моста.

ОТРАЖЕНЬЕ В ОЗЕРАХ ТРАКАЯ

Эти перистые облака,
Исчезая и возникая,
Далеки над каймой сосняка,
Но близки под стеной тростника,
Отразившись в озерах Тракая.

Дуновение ветерка —
Колыхнутся и канут, сверкая.
Их дорога опять далека.
То мгновенье, а то века —
Отраженье в озерах Тракая.

* * *

Просто нет никакого спасу —
Ливень хлещет по Арзамасу,
По церквам, площадям, садам
И по улицам, что ночами
В темноте разошлись лучами,
Больше к северу — к холодам.

А ведь это — макушка лета,
По-июльски земля согрета,
И пока не бросает в дрожь.
Как бы мысль о встрече ни грела,
Это самое грустное дело —
В незнакомом городе дождь.

Как судить? Ведь событий река
Все шумит, за собой увлекая.
Изреченное на века
Проскользнуло слабей сквозняка
Отраженье в озерах Тракая.

А строка, что беспечно легка,
В чьей-то песне звучит, не смолкая,
И останется наверняка,
Как живет со времен ледника
Отраженье в озерах Тракая.

Ни приметных домов похожих,
Ни случайных поздних прохожих,
И почти размыло пути.
Хорошо, хоть с крышами крыльца —
Все равно, на каком укрыться,
Да не знаешь, куда зайти.

И порой в такую погоду
Проклинаешь свою свободу...
Благодатный дождь, охлади!
И напомнил, что ты — в итоге —
Зарядил к удачной дороге.
Все хорошее — впереди.
Погоди...

МИХАИЛ ЛЬВОВ

В ПОИСКАХ «РЕЦЕПТОВ» ЖИЗНИ И СТИХА

Люди, пишущие стихи, с самого начала задумываются о том, как сочетать стихи и жизнь, литературную учебу и работу, службу, одержимость стихами с добыванием насущного хлеба...

И часто решают эти вопросы по «личному произволу», без учета опыта старших... Некоторые думают, что стихи — это «волшебный ключ», с помощью которого они откроют секреты всех жизненных проблем...

А между тем поэты и до нас задумывались над этими вопросами, говорили, писали, спорили...

Известны слова Светлова о том, что поэт — не профессия, а состояние (души).

А можно ли «состояние души» делать профессией и все надежды связывать только с ним!

«Из жизни — в жизнь!» — так объяснял путь поэзии Луконин, считая, что надо «брать» стихи из жизни — и делать их частью жизни.

В 1950 году он принял в печать мою поэму (в журнале «Октябрь»). Нужна была некоторая доработка — от комиссии по работе с молодыми он же посылал меня в Свердловск и в Челябинск проводить семинар молодых поэтов.

И вот тогда он спросил меня:

— Ты умеешь работать в дороге?

— Да.

— А я нет — как разину рот на жизнь, так и «застываю».

Это мне запомнилось сразу же — и навсегда.

Иные люди «закрываются» от жизни, полагая, что в уединении они напишут больше и лучше... Думаю, что это ошибка...

«Рецепты» искали и до нас...

В журнале «Огонек», в статье Н. Н. Кружкова «Глыба русского таланта» — о Куприне — я прочитал слова Куприна: **«Работать, ЖИВЯ!»**

Это найдено большим художником — его поисками, жизнью и творчеством — и завещано нам.

...В то же время, наверное, надо опасаться чрезмерного «обожествления» «тайн» поэтического ремесла, мастерства («гармонии стиха божественные тайны не думай разгадать по книгам мудрецов»...).

Пушкин легче относился к этому — у него найдем слова и «горячка рифм», и «поэзии священный бред», и «мною овладел бешеный демон бумагомаранья» и т. д. — каждая строчка — рецепт!

Один критик говорил — давно — нам, молодым: «Муза, как всякая женщина, не прощает измены» — то есть только ей посвятить всю жизнь? А верно ли это?

В 1969 году в Волгограде отмечали 50-летие Луконина. Приехали поэты со всей страны. Председательствовал Симонов. На другой день — выступления в учебных заведениях, на предприятиях.

Мы с Симоновым выступали в строительном институте. Ему задали вопрос, почему он сейчас не пишет стихи...

— Стихи, видимо, требуют всех сил,— отвечал он, объясняя, что занят прозой...

Семен Гудзенко говорил, что, когда он пишет, он не выступает, когда выступает — не пишет... Он же говорил: надо выступать — всюду, печататься — всюду...

Так и мы — жизнью — искали «рецепты» «правильной жизни» поэта...

...Порой стихи — снятся. Снится, что будто вдруг тебе открылся какой-то секрет раскованного, «беспрепятственного» — то есть без «сопротивления материала» — письма...

Ищем наяву и во сне. Как истину... (Есенин различал два вида искусства — декоративного и строгого, которое считал равнозначным постижению истины...)

Пастернак говорил Бокову: «Надо «разогреть» себя — тогда придут большие слова».

В «Охранной грамоте» он писал, что «поэт — не автор, а предмет лирики», ссылаясь на поэму Маяковского о себе.

Мне он говорил про одну поэтессу «многословную»: «Ее стихи не понравились Горькому — у нее «пулеметный талант»...»

Каждая такая фраза для нас — тоже часть искомого «рецепта»!

Пабло Неруда считал, что поэзии учишься всю жизнь, что она слепым притяжением любви притягивает сама вещи, предметы, события, явления...

Ища эти «рецепты» — собственным опытом, естественно, и об этом тоже пишешь стихи...

Так складывались и у меня эти стихи: «мастерская»...

Возможно, они заинтересуют читателей и любителей поэзии, в первую очередь, конечно, тех, которые сами становятся на этот — далеко «не гарантированный» — путь поэзии.

«СЕКРЕТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ...»

* * *

Работать, живя.

А. Куприн

Не живя,

писать не будешь,

Петь не будешь —

не живя...

Не увидишь мир

и будни ж

Из закрытого жилья.

Не отправятся на пенсию

Это море и залив.

Двести лет — порою — песне,

А — не просится в архив.

Урожая стихов
и прозы,
Урожая снегов
и хлеба,
Урожая плодов
(и — глюкозы!),
Урожая Лучей
и Неба!

Урожая
пшеницы
и ржи,
Только
не урожая
лжи.

* * *

Вот непременно
деталь!
Могу
позволить
хоть хрусталь
Поставить
на рабочий стол,
Но —
убираю со стола
Те книги —
коим несть числа! —
Где
лжи полнейший
произвол,

Где лжец
себя
воспроизвел:
Магнитное
испортят
поле
Вокруг стола,
да и слова —
Как отравляющие,
что ли,
Как отравляющие
поле
Химические
вещества...

МОЙ КЛЮЧ

Мой ключ — человечность,
все двери откроет.
Мой ключ — терпеливость,
все клады отроет.
И ключ мой —
сердечность —
люблю не сердиться,
Уж лучше бы вовсе
на свет не родиться,
Чем прочно-упрямо
на всех «рассердиться»...
Мой ключ теплота —
даже к милым животным:
— Ну, как вы ищачите?
Как вы живете? —
Я за ухо
нежненько трону
щенка:

* * *

Это Нечто
по имени Время,
Из которого ткуются года,
Это — счастье, и радость, и бремя
(Что умеет давить, как гора),
Эта жизнь — с красотою земною,
Как реальные волны реки,
Это всё, что — при мне и — за мною,
Ухватить бы строкой, как рукою,

Воплотить в матерьяльность строки —
Чтобы годы
в архив не сдавались,
А как вечные реки земли,
Дни мои —
все —
при мне оставались,
Чтоб текли бы —
но не утекли.

* * *

Версификатором
быть проще —
Пройдет он
с женщиной
по роще,
Но на дуэль
он не пойдет,
Как не пойдет он
и на дот...

Солидным может стать
и видным,
И — с положением
завидным,
Но никогда
его строка
Собой не выстрелит
в века.

О ДНЕВНИКАХ

Записывайте жизнь свою по дням.
Как можно
лес
восстановить по дням —
Так можно жизнь
восстановить
по дням —
И самому представит интерес,

В какие дебри некогда
ты «влез»,
Какой — потом — порублен
будет лес,
Уйдешь —
какой погублен будет
лес.

ПИСЬМА

Стихи
не пишутся
когда —
Пишу я письма и открытки
Друзьям
в родные города —
От Ленинграда
до Магнитки,

Сердечный уровень,
как ток,
И этим как бы развивая,
Не опуская
потолок
Забот
о людях
и тревог

первая встреча



Рис. Г. Георги

СВЯТОСЛАВ ПЕДЕНКО

«О, СОРОКА-БЕЛОБОКА, НАУЧИ МЕНЯ ЛЕТАТЬ...»

Как, наверное, и каждому пишущему о поэзии, мне приходилось получать стихи, авторы которых просят ответить, есть ли у них талант и стоит ли писать дальше. Ну, что касается вопроса, стоит ли писать, ответ тут однозначный: можешь не писать — не пиши. А вот насчет таланта... Тут не такие, как мы, ошибались. Брюсов, например, в свое время сказал о Блоке, что тот — небольшой поэт. Потом Есенин ехидно припомнит Брюсову это опрометчивое высказывание:

Ходит Брюсов по Тверской
Не мышóй, а крýсиной.
Дядя, дядя! Я — большой,
Скоро стану с лысиной!

Так что вообще судить о наличии поэтического дарования и его масштабе — дело довольно ответственное и трудное, а по нескольким стихам — тем более. Конечно, иногда бывает достаточно и нескольких строк — ну, например, «Отговорила роща золотая березовым веселым языком», или: «С каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть, чувственную самую жгучую, самую смертную связь», — чтобы сразу все понять. Но это строки сложившихся, зрелых поэтов, а мы здесь говорим о тех, у кого строчек такой силы и ясности еще нет, надо смотреть то, что есть.

Итак, есть стихи авторов не таких-то уж и начинающих — все печатались в газетах и журналах, а кое-кто и в коллективных сборниках — словом, это одни из тех, кто входит сегодня в поэзию. Ну так с чем они входят?

Вот Марина Безденежных. В ее стихотворных миниатюрах взгляд на мир свежий, действительно молодой, порой даже детский: «Радуга испуганною кошкой спину выгибает в небесах», или: «Просто отшумели все метели, просто очень голый гололед, просто тянет вместо карамели положить кусок сосульки в рот». Не знаю, как кому, а мне «очень голый гололед» нравится, тут есть элемент озорной игры со словом, игры, в которую поэтесса вовлекает и меня: ей весело писать, а мне весело читать. И про сугроб, которому надо посочувствовать, тоже понимаю: вот лежал себе целую зиму, знакомым стал, привычным, а теперь его не будет... То есть умеет М. Безденежных создать настроение, передать другому свое чувство, но...

Мне хочется собаку завести,
Ничейного котенка обогреть,
Мне хочется кого-нибудь спасти,
А мне твердят: «Пора бы повзрослеть!»

Если подходить к М. Безденежных с требованиями журнала «Колобок», где она уже печаталась, если она и дальше хочет писать для детей, то тут я ничего сказать не могу, кроме как: исполать! А если она хочет выйти за узкие цеховые рамки, стать поэтом, то да, надо повзрослеть. Потому что спасти, ну пусть не все человечество, но хоть кого-нибудь, поэт может только стихами, а милые зарисовки, даже теплую, добрую улыбку вызывающие, — это для поэта мало.

Надежда Солнцева, похоже, это понимает. Во всяком случае, определения «мило» она не принимает и боится:

Пусть я во многом не права,
Но мне сказать необходимо,
Чтоб кто-то на мои слова
В ответ не произнес: «Как мило!»

Но посмотрим предыдущие строки: «...Незабудка пьет болото, где плоть сгоревшая гниет», — ладно, «весомо, грубо, зримо», скажем так, дальше: «Поднявшись вверх из черноты, нашла она опоры точку, наружу

выбросив цветочки, чтоб удивлялись я и ты». Цветочки?! В таком-то контексте? Удивляться можно цветку, а про «цветочки» ничего не скажешь, кроме «как мило!», чего поэтесса и боится. Не поймут, дескать, и еще спросят: «Зачем так пылко и серьезно я говорю о пустяках?» Да не важно, о чем говорит лирический поэт, Белинский ведь еще об этом писал: «Предмет здесь не имеет цены сам по себе, но все зависит от того, какое значение дает ему субъект, все зависит от того веяния, того духа, которыми проникается предмет фантазией и ощущением. Что, например, за предмет — засохший цветок, найденный поэтом в книге? — но он внушил Пушкину одно из лучших, одно из благоуханнейших, музыкальнейших его лирических произведений». Так что важно не «что», а «как». А вот как пишет Н. Солнцева, я по ее подборке, честно говоря, так окончательно и не понял. Можно, конечно, придраться к строчке «Память пространство рождает», сделанной по принципу «мать любит дочь», и построить на этом свое суждение, но... Ох, не любят критики признаваться, что вот, мол, этого стихотворения я не понял, не дается оно мне, но что же делать — не дается. «Дерево, дождь», например. На какой-то смеси детского и взрослого оно замешено, вроде бы маленький человек болеет, и вдруг этакое манерно-женское: «Мне прописали ненастье, прикосновенье руки. Чайную ложечку счастья, четверть таблетки тоски... Стало любви не хватать». Так взрослое или детское? Или такое стихотворение, как «Торопясь от утренней неловкости...». — О прогулке на лодке оно? Да нет, я же нюхом чую, что не об этом, а «утренняя неловкость», и «небо, обрамленное листвою», и еще что-то неуловимое мне что-то говорят, но что? Очевидно, стихам Н. Солнцевой не хватает определенности, законченности, это не картина, а этюд, выдающий себя за картину. Впрочем, допускаю, что могут быть и другие мнения...

С Алексеем Супоневым мне проще, тут все гораздо определенной, и во многом благодаря стихотворению «Игрушечный паровоз». Хороша рифма «парусом — на пару с ним» (а свежая рифма — это очень немало!), несколькими точными штрихами зримо обрисован сын, его обиженно-дерзкий прищур глаз, когда «не получается у нас игрушка». Вижу как наяву этого с характером пацана, а значит, вижу и того, кто о нем написал. А вот остальные стихи... Ну вот хотя бы о статистике погибших на войне. Мы все об этом знаем и думаем, не можем не думать, не мучиться тем, что убивали не просто бойцов — будущих отцов, у детей которых могли бы сегодня быть свои дети... И тут не мы с поэтом согласны, а он с нами, но сказал ли он что-нибудь свое, то, о чем мы не думали? А чего стоят эти банальные города «из стекла и стали»? В другом стихотворении — та же банальность и небрежность: «Цвет вешних вишен упал на голову отца». С чем только седину не сравнивали — с пеплом, серебром, инеем... И потом: вишневый цвет не «падает», он медленно, тихо опадает, а «падает» — это о чем-то тяжелом... Неловко, небрежно.

Вот у Нины Шевцовой в «Осеннем утре» — это да, тут все на концевке держится: бег, дождь, листопад, целуются под зонтиком, лихие машины, улица весело взъерошена, клен, бестия лохматая, проснулся и

тоже взвизывает — ах, как все рыже, жарко, весело, но! — осень... И усталый тихий почтальон все ставит на свои места...

Очень емко «Сонет о вечернем автобусе», где чувствуется и какая-то всеобъемлющая общность, действительно «душа вздыхает мировая», и в то же время — одиночество лирической героини... Это не противоречие, это диалектика, достаточно вспомнить «Выхожу один я на дорогу...». А то, что художник в наиболее высокие свои минуты всегда одинок, — истина, конечно, не новая, но ведь верная же... И в остальных стихах подборки нет ни одного легковесного, «проходного», банального. Собственно, стихов не так уж много, но достаточно для того, чтобы со всей определенностью сказать, что их автор наделен несомненным поэтическим талантом. Сильно сказано? Что ж, поживем — увидим.

И вообще пророчить успех как-то приятнее, нежели говорить, что вот, мол, к сожалению. А именно это я и хотел сказать, прочитав подборку стихов Аркадия Сергеева. Ну, вот хотя бы в стихотворении о воинских эшелонах: «...А мальчишки бежали к линии: — Нас возьмите на мировую!» Очень точно — «к линии», а не к станции или путям, тут в одном слове дух и места и времени, — но куда не годится — «на мировую». Для нас это была не мировая (тем более что есть тут и второй, мешающий смысл: «пойти на мировую», то есть «помириться»), а Отечественная война. Мировая же, особенно в просторечии, это первая мировая, мальчишки не могли так сказать...

Но это еще бы ладно, а как быть с явными подражаниями Рубцову: «Нет! Не устану я слушать зарянку. Нет! Не устану смотреть на цветы!» или: «В омуте вода прозрачней окон»? Ведь хуже, чем в оригинале: «Вода недвижнее стекла». А окна снаружи — темные, это они изнутри только более-менее прозрачные, но не изнутри же омут смотрел автор?

Ну, словом, отметил я все это и многое другое, припомнил известное «До тридцати поэтом быть почетно, и стыд крошечный после тридцати» и совсем уж было собрался написать, что вот, мол, мы порой оказываем человеку медвежью услугу уклончивыми отзывами, а ведь если он до сих пор не освободился от чужого влияния и ничего заметного на поприще поэзии не достиг, то не лучше ли прямо сказать, что, мол, к сожалению...

И вдруг я поймал себя на том, что бросил писать эти заметки, а сижу и повторяю, приборматываю, мурлычу строки А. Сергеева: «О, сорока-белобочка, научи меня летать... — Пела мама одиноко, чтобы в горе не молчать...»

Так что не так все просто и с Аркадием Сергеевым, и с поэзией, да и со всем остальным...

Родился в 1953 году в станице Константиновской на Дону. Окончил Алма-Атинское общевоинское командное училище. Командовал взводом. Сейчас редактор многотиражной солдатской газеты, студент-заочник Литературного института имени А. М. Горького. Стихи печатались в журналах «Знамя», «Советский воин», в коллективных сборниках.

ОТЧАЯ ЗЕМЛЯ

Земля, земля...
Опять иду по пашне
Без будничной заботы,
Налегке.
Пытаюсь возвратиться
В день вчерашний,
Горсть чернозема
Пестую в руке.
Земля, земля...
В тебе уснули деды,
Их дело продолжают сыновья.

Прости меня,
Что я опять уеду —
За всю Отчизну отвечаю я.
Земля, земля...
В далеком гарнизоне,
Что пульс планеты слушает в лесу,
Твое тепло
В душе и на ладони
До дней своих последних
Пронесу.

СЕРЖАНТ

Качался в глазах
Азиатский рассвет,
Барахталось солнце в пыли,
Когда новички восемнадцати лет
На стрельбище дальнее шли.
Болтались шинели
На узких плечах,
Мозоли мешали идти,
Но важный сержант —
Переросток в очках —
Сажени махал впереди.
И шаг бы короче,
И нужен привал,
Иначе братва не дойдет.
Но длинный очкарик

Махал и махал,
И требовал —
Только вперед.
Еще заставлял
По колючкам ползти,
До хрипа горланить «ура!».
А нам бы
Колодец найти по пути,
Облиться водой из ведра.
Весна в Казахстане
Вступила в права,
Барахталось солнце в пыли.
Мы шли за сержантом,
Живые едва,
Из детства наивного шли.

ОФИЦЕРСКИЕ ДЕТИ

Живем в лесу.
В казарме нашей
И штаб,
И дом,
И детский сад.
Здесь маршируют,
Спят и пляшут
Ватаги наших пострелят,
Они в отцов своих играют:
Встают за несколько минут
И по тревоге убегают,
А девочки,
Как мамы,
Ждут.

Игрушек мало.
Места мало.
Но можно браво,
Не в мечтах,
Идти за ротным запевай
В солдатских
Сомкнутых рядах.
Такое вряд ли
Улыбнется,
Когда здесь будет городок.
Мальчишкам весело живется,
В строю шагаются,
Поется,
Им думы взрослых невдомек...

СМОТР

Мне нравится,
Когда единым духом
Все воины дивизии живут,
Когда над плацем
Празднично и сухо
Дробь барабанов грянет
Как салют.
И вечный марш
«Прощание славянки»
Вдруг зазвонит до самого нутра,
И вывернется сразу наизнанку
То, что казалось тяжестью вчера:
Все наши упражнения до пота,
Ночные бденья,

В поле марш-броски...
Расправит плечи
Бравая пехота,
Почувствовав вдруг
Гордости ростки
За все, что мы перевозмогли
Сверх силы
На страдной ниве
Ратного труда,
Чтоб показать
Перед лицом России,
Что щит и меч надежны,
Как всегда.

Родилась в 1947 году в Москве. Окончила Московский областной педагогический институт имени Н. К. Крупской.

Печаталась в журналах «Москва», «Юность», «Смена», «Мурзилка».

КНИЖКА ЗАПИСНАЯ

В траве,
уже совсем лесная,
забыта книжка записная.
И кажется, она вот-вот
как будто бабочка
вспорхнет.

Как мир среди иных миров —
на лепестках ее прозрачных
собрание чисел шестизначных,
московских старых номеров.

Никто не позвонит друг другу.
Не поднимай ее, оставь.
Немного сдвинулась по кругу
в ней зашифрованная явь.

Прощай же, книжка записная,
теряй страницы, рвись, кружись!
Где ж ты, другая,
запасная,
еще не начатая жизнь?..

ДЕРЕВО, ДОЖДЬ

Дерево, дождь — оставайтесь!
Всем остальным — разойтись.
Дерево, стань у кровати,
ветками облокотись.

Дождь, расставляй свои ширмы.
Комната слишком светла.
Доктор пока разрешил мне
только чужие слова.

Что ж, до свидания, здравствуй!
Ждать, отвернуться к стене,
чтобы раздвинуть пространство.

Скоро достанут лекарства,
чтобы вернуться ко мне.

Мне прописали ненастье,
прикосновение руки.
Чайную ложечку счастья,
четверть таблетки тоски.

Память пространство рождает.
Стало любви не хватать...

Доктор уже разрешает
мне понемногу летать!

КОМУ-ТО НАДО РАССКАЗАТЬ...

Кому-то надо рассказать
про забывку на болоте.

Пусть на нее графу заводят
и пишут в толстую тетрадь.

Пусть вам глазок ее мигнет.
Возможно, удивит кого-то,
как незабудка пьет болото,
где плоть сгоревшая гниет.

Ее эскиз был подготовлен
в один из тех дремучих дней,
когда был морем мир затоплен,
а жизнь ворочалась на дне.

Поднявшись вверх из черноты,
нашла она опоры точку,
наружу выбросив цветочки,
чтоб удивлялись я и ты...

Пусть я во многом не права,
но мне сказать необходимо,
чтоб кто-то на мои слова
в ответ не произнес: «Как мило!»

Чтоб кто-то в спор вступал со мной,
чтоб стала истина возможной,
чтоб кто-то слушал не с тоской,
не с той улыбкой осторожной,

не с тем насмешливым вопросом
на недоверчивых устах:
зачем так пылко и серьезно
я говорю о пустяках?

Кому-то надо рассказать...

ОСИНЫ

Осины, осины вповалку.
Рисунок на пнях завершен.
Мой лес превратился в полянку.
И корни отдельно от крон.

Но листья так странно живучи,
так юн неумный их звон,
как будто стволы неотлучны
от почвы,

как будто их сон
сковал
или просто усталость
заставила в травы прилечь.
Как будто деревья привстанут,
лишь только коснешься их плеч.

Стволов синеватая млечность
струится, и нет ей конца.
Осины текут в бесконечность
за круг, за пределы кольца.

Бессмертье. И светятся срубы.
Бессмертье.
Таинственный звон.
Неважно, что тупо округлый
рисунок на пнях завершен.

* * *

Торопясь от утренней неловкости,
я тихонько берег оттолкну.
И помчит, как по наклонной плоскости,
лодочку невзрачную одну.

Берега не видно, но неправильно
представлять, что вовсе нет его.
Все равно пока — на время плавания —
я о нем не знаю ничего.

Тайна есть в возможности волнующей
вспомнить днем про звезды и луну.
Ветер, ты заглядываешь в будущее,
парус, как страницу, отогнув.

Вздохи, шорохи и тихий смех.
Небо, обрамленное листвою...
Берег тот, неведомый для всех,
я еще открою и освою!

Родилась в Омске. Учится на филологическом факультете Омского государственного университета. Печаталась в журнале «Колобок», в коллективном сборнике «Старт».

* * *

Я опять в гостях у деда,
И с лукошком до обеда
Я пойду в лесок пока,
Взяв с собой горбушку хлеба
И головку чеснока.

Ох, устала я ужасно! —
Отдохну за бугорком...
Вот теперь мне стало ясно,
Все понятно мне прекрасно —
Счастье пахнет земляникой
И немного — чесноком!..

РАДУГА

На полях, пропитанных озоном,
Низко гнется вымокшая рожь.
Где-то далеко, за горизонтом,
Все еще идет холодный дождь.

Я иду по полевой дорожке
И смотрю до чертиков в глазах —
Радуга испуганною кошкой
Спину выгибает в небесах.

* * *

Как затих сверчок в подъезде —
Сразу мама стала строже,
Сразу снег на землю выпал,
Сразу день короче стал...

Говорят, зима настала..
И зима настала тоже —
Но она настала все же,
Лишь сверчок сверчать устал!..

* * *

Мне хочется собаку завести,
Ничейного котенка обогреть,
Мне хочется кого-нибудь спасти,
А мне твердят: «Пора бы повзрослеть!»

* * *

Нынче небо не покрыто тучами,
И у перекрестка узких троп

От щекотки солнечного лучика
Недовольно съежился сугроб.

Я ему, бедняге, посочувствую,
Мне его судьба уже ясна:
Каждой клеткой я сегодня чувствую:
В город возвращается весна.

ВЕСНА

Я гляжу на солнышко с прищуром,
Улыбаюсь всем кому не лень,
Невозможно оставаться хмурым
Просто потому, что ясный день.

Просто отшумели все метели,
Просто очень голый гололед,
Просто тянет вместо карамели
Положить кусок сосульки в рот.

Родился в крестьянской семье в первом послевоенном году на Орловщине. После школы работал на стройке грузчиком. Окончил Орловский педагогический институт, учительствовал в сельской школе. В настоящее время на профсоюзной работе.

Печатался в областных газетах, один из авторов коллективного сборника «Орловские дали».

* * *

Вот мой отец из сада вышел,
совсем седой...

Сел у крыльца.

Наверное, цвет вешних вишен
упал на голову отца.

Сейчас закурит и расскажет,
что посадил в каком году.

Он знает все про кустик каждый,
про ветку каждую в саду.

Он их спасал,
пройдя полсвета
сквозь ад последней мировой...
О чем-то тонко шепчет ветка
над белой-белой головой.

* * *

Нет, эта справка — неверна,
что только двадцать миллионов
в России унесла война
седых и молодых-зеленых:

а сколько их еще потом,
уже отпраздновав Победу,
от ран погибло...
Ты о том,
о том, статистика, поведай.

А сколько их еще, солдат,
с тех пор по жизни тяжело ходят...
И раны старые болят,
спать не давая к непогоде.

А сколько нас бы родилось —
представь себе (подумать страшно),
коль умереть бы не пришлось
отцам и братьям нашим старшим...

Десятки новых городов
воздвигли б из стекла и стали —
для укрепления постов,
и мы еще б сильнее стали...

Все дальше время утекает
от той ошибки исторической —
потеря та все возрастает
в прогрессии геометрической...

ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ

Вы не пришли.
А мы вас ждем.
Все думаем:

«А вдруг придете...
Своих детей и жен найдете...»

Вы не пришли,
а мы вас ждем —
как солнца ждут вслед за дождем.

ИГРУШЕЧНЫЙ ПАРОВОЗ

Сын просит сделать паровоз,
и обязательно —
чтоб с парусом...
И вот колдуем мы на пару с ним,
чтоб паровоз тот — парус нес.

Не получается у нас
игрушка эта незавидная...

* * *

Просыпаешься по ночам,
чтоб послушать дыхание сына.
В тишине где-то птицы кричат,
проторяя свой путь по вершинам.

И живем мы в тревогах земных —

И будем ждать,
пока живем...

И вижу я в прищуре глаз:
сказать он хочет мне обидное...

Как объяснить его пытливому,
но детскому еще уму,
что в жизни есть несовместимое —
чего и сам я не пойму.

за детей
и за этих пернатых...
Нам,
сегодня придумавшим атом,
как назавтра остаться в живых?

Родилась в 1956 году в Киеве. Окончила Московский авиационный институт.

Стихи печатались в журнале «Пионер», в газете «Московский комсомолец», в коллективном сборнике «Под рубиновыми звездами».

СТАРШАЯ СЕСТРА

Вы, младшие братья, огромные с виду,
Все кажетесь мне малышкой.
За старшую в доме, грозу и защиту,
Я оставалась порой.

Немало шлепков от меня получали
Два брата в «боях» удалых.
А если родители нас разнимали,
Терпела я за троих.

Бидон и авоська, на кухне порядок —
Простор хлопотливым рукам!
Когда же отец приносил первых ягод
С базара — да пусть, малышам...

С тех пор я за младших ответчица...
Тревожно живу и людей беспокою,
Как будто меня человечество
Назначило старшей сестрою.

НА БАЙКОНУРЕ

На июльских песках Байконура
Погибают сухие ростки.
Как верблюжьи мохнатые шкуры,
Города укрывают пески.

Там арыки беснуются в пене,
И когда небеса проревут,
Отделение первой ступени
Наблюдает привыкший верблюд.

* * *

Подойду и беретик надвину —
Словно я засмотрелась в витрину,
Где поставили чудо-мужчину
В серой тройке, с перчаткой в руке...

Но куда подевал он щетину
И проклятую злую морщину,
Без которой, наверное, сгину
Иль повисну на волоске...

* * *

Не смейся, брат, когда оркестр
Лундстрема
Я с Эллингтоном спутаю. Поставь
Ту, тихую, где так спокойна тема,
Как речка наша. Бродом или вплавь

То выходя на отмель по колено,
То упуская зыблемое дно,
Плыви на правый берег, где степенно
Горбушка сена высится. Давно
Там ждет тебя под треск и свист цикады

Галушек миска, кружка молока,
Там вдоль плетня бренчит и трется
стадо,
Сквозь пыль являя мутные рога,
Там бабушка поет: «Пора вечерять!»

Хоть руки жжет, натертые серпом,
Но отдых близко — только плыть и
верить...
Устал, братишка?
— Малость. Ну, плывем!

СТАКАН

Разбился дедушкин стакан.
Подумаешь, причина!
Стакану век короткий дан.
Светла его кончина.

Смели осколки в битый чан...
И вот из магазина

Блестящий новенький стакан
Приносит деду Нина.

А дед грустит. А дед, хоть плачь,
Уткнулся в угол серый...
То чай остыл, то чай горяч,
То сладок чай без меры.

ОСЕННЕЕ УТРО

Дождь. Бег. Листопад. Магазин.
Под зонтиком звонко целуются.
Лихими штрихами машин
Взьерошена рыжая улица.

Багрово взвивается клен,
Спросонья лохматая бестия.
И тихо присел почтальон.
Тяжелые, видно, известия...

СОНЕТ О ВЕЧЕРНЕМ АВТОБУСЕ

Не странно ль, на ухабах замирая,
Нестись, тревожа ближнего плечом,
Как будто в нас неведомо о чем
Одна душа вздыхает мировая?

Не странно ль, выходя, застыть у края
Ступеньки и вопрос сглотнуть как ком,
Страшнейшим человеческим грехом
Навязчивость невольную считая?

И вслед брести ныряющим огням,
Унесшимся в потемки именам,
Глазам в чаду ревущего тумана —

Пока во тьме проявятся сады
И новых лиц неровные ряды
Придут, пройдут и канут
безымянно?..

Родился в 1941 году в городе Ельне Смоленской области. Окончил Смоленский педагогический институт, филологический факультет. Работал в редакциях газет Смоленска, Вологды, Владимира.

Стихи печатались в журнале «Студенческий меридиан», в коллективных сборниках.

СОРОКА-БЕЛОБОКА

— О, сорока-белобока,
научи меня летать...—
пела мама одиноко,
будто плакала опять.

Платье свадебное белое,
что хранила всю войну,
доставала и несмело
шла, как к зеркалу, к окну.

А оно шумело складками
и выскальзывало вдруг
горностаем на пол гладким
из ее тоскливых рук.

— О, сорока-белобока,
научи меня летать...—

* * *

Проходили составы длинные
нашу станцию небольшую,
а мальчишки бежали к линии:
— Нас возьмите на мировую.

И в решении неизменные,
площадь станции осаждали,
то составы были с военными,
с настоящими, при медалях.

пела мама одиноко,
чтобы в горе не молчать.

И синицей улетала
к синим дальним берегам,
где снега давно растаяли
и в больших цветах луга.

И с души — спадает камень.
Я во все смотрел глаза,
как из света возникали
карие ее глаза.

И когда мне одиноко,
я пою, как пела мать:
— О, сорока-белобока,
научи меня летать...

В гимнастерках линиях, собранны,
угощали нас белым хлебом
и руками большими, добрыми
поднимали с земли до неба.

Те военные и былинные.
И на запад, на мировую,
уходили составы длинные,
помня станцию небольшую.

**АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ,
НИНА КАЗИНЦЕВА**

АВТОР ДВУХ ПОЭМ

/К 175-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя/

Для нас, как, впрочем, и для его современников, Гоголь — великий прозаик и драматург. Далеко не каждому читателю известно, что автор «Ревизора» и «Шинели» начинал как поэт, как стихотворец — человек с определенным мироощущением, с особым отношением к жизненному материалу. Он дебютировал поэмой «Ганц Кюхельgarten». Подобная неосведомленность неудивительна — первое творение Гоголя редко переиздается, его включают только в собрания сочинений, да и то относят обычно в раздел приложений. Упуская из виду это произведение, мы не задумываемся над тем, что в начале и в конце творческого пути одного из наиболее знаменитых писателей России стоят поэмы — «Ганц Кюхельgarten» и «Мертвые души».

Само сопоставление этих произведений непривычно и может показаться неоправданным. Что общего между незрелым опытом провинциального юноши и итоговым творением мастера? Но даже если не брать во внимание разницу в мастерстве исполнения, если рассматривать эти произведения с формальной точки зрения, то и тогда трудно обнаружить роднящие их моменты. «Ганц» написан стихами, это сравнительно небольшая вещь, «Мертвые души» — грандиозное в замысле повествование, написанное прозой. И все же эти произведения скреплены нерасторжимой связью. Их связывает судьба Гоголя, его стремление остаться в памяти потомков автором поэмы — п о э т о м. Их роднит основа, на которой развивалось художественное мышление Гоголя.

* * *

В 1829 году Гоголь приехал в Петербург. У него не было необходимых знакомств, облегчающих вступление в столичное общество, не было опубликованных произведений, позволяющих надеяться на дружеский прием в литературной среде. У него была только рукопись «Ганца» — ею-то автор и надеялся покорить Петербург. «Великая торжественная минута... У ног моих шумит мое прошедшее, надо мною сквозь туман светлеет неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей, мой гений! О не скрывайся от меня, пободруствуй надо мною в эту минуту

и не отходи от меня весь этот, так заманчиво наступающий для меня год. Какое же будешь ты, мое будущее?.. О будь блистательно, будь деятельно, все предано труду и спокойствию!.. Где означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности, этой безобразной кучи мод, парадов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности?.. Я совершу... Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество! Я совершу...» Прочитанные строки написаны Гоголем позднее — накануне 1834 года, но, без сомнения, подобные мысли о великом поприще, открываемом перед ним, владели молодым автором и в 1829 году. Отзвуки этих мыслей слышатся в письмах того периода, их можно уловить и в «Ганце»:

И мир прекрасный, мир прекрасный
Отворит дивные врата,
Приветить юношу готовый...

Пожалуй, только одной фразы, фразы о Петербурге — «куче набросанных один на другой домов» — не мог написать Гоголь в тот год, когда ехал покорять столицу. Тогда город представлялся ему «миром прекрасным», готовым отворить врата перед юношей, наделенным поэтическим даром. Что же изменилось за это время, что случилось с Гоголем в промежутке между 1829 и 1833 годом?

Случилась катастрофа. В том же, 1829 году. Под псевдонимом В. Алов Гоголь издал «Ганца Кюхельгартена». Поэма подверглась уничтожающей критике. Обычно в этой связи упоминают резкий отклик в булгаринской «Северной пчеле». Но в нем, по крайней мере, отмечалось, что «в сочинителе заметно воображение и способность писать». Рецензия Николая Полевого, напечатанная в «Московском телеграфе», не содержала и таких утешительных для самолюбия поэта суждений. Знаменитый в то время критик был предельно краток и резок: «Издатель сей книжки говорит, что сочинение г-на Алова не было предназначено для печати, но что важные для одного автора причины побуждали его переменить свое намерение. Мы думаем, что еще важнейшие причины имел он не издавать своей идиллии. Достоинство следующих пяти строчек укажет на одну из сих причин:

Мне лютые дела не новость,
Но дьявола отрекся я,
И остальная жизнь моя —
З а п л а т а малая моя
За прежней жизни злую повесть.

Заплатою таких стихов должно бы быть сбережение оных под спудом».

Произошло самое страшное для молодого автора — маститый критик, авторитет публично уличил его в недостатке мастерства, более того, в безграмотности. Правда, в том же 1829 году другой видный критик, Н. Надеждин, пристрастно разбирая в «Вестнике Европы» только что

изданную «Полтаву», уличал в безграмотности самого Пушкина! Обвинения Полевого были в духе времени, но в отличие от знаменитого поэта Гоголь не мог отмахнуться от обвинений. У него не было положения в литературе, вся его будущность была связана с «Ганцем». И вот поэма раскритикована, уничтожена.

Исследователи творчества Гоголя не любят рассказывать о его первой поэме. «Не будем останавливаться на печальном инциденте с «Ганцем Кюхельгартеном», — писал в начале века Д. Абрамович. Эти слова могли бы повторить многие поколения историков литературы. А между тем поэма интересна как своими достоинствами — а они в «Ганце» есть, — так и недостатками. И достоинства и недостатки поэмы не были случайными, они коренились в манере письма, в художественном мышлении Гоголя, и мы не раз обнаружим их в более зрелых его произведениях.

Тут уместно сделать небольшое отступление. Обыденному сознанию писатель-классик представляется всемогущим мастером, умеющим в искусстве все. Напоминание о поражении, которое потерпел мастер, мысль о том, что он не все умел, воспринимается таким сознанием едва ли не как оскорбление памяти писателя. В литературной науке подобное отношение к деятелям искусства породило так называемую «историю генералов». процитированное выше высказывание Д. Абрамовича показательное — говорить о поражении Гоголя он явно считает плохим тоном /здесь не боль за автора, а забота о соблюдении приличий/.

Однако в искусстве «все умеют» лишь художники средней руки, воспроизводящие классические образцы, не соотнося их со своим личным опытом, пристрастиями, особенностями видения мира. Подлинный творец избирателен в обращении к художественным средствам, его поэтика определяется своеобразием его мышления. Из богатейшего арсенала мировой культуры он берет только то, что необходимо для создания его творческого мира, в котором властно отображен сам художник, его жизнеотношение и идеалы. Разумеется, говорить об «умении» или «неумении» здесь можно только в кавычках. И все же вести этот разговор необходимо. Ибо в противном случае, исходя из наивного представления, что большой художник умеет все, мы зачастую лишаемся возможности с особой остротой ощутить своеобразие созданного им творческого мира, его единственность, уникальность, которая и является безошибочным свидетельством гениальности автора.

«Ганц Кюхельгартен» дает прекрасный материал, чтобы разобраться, что «умел» и чего «не умел» Гоголь. Конечно, в этой незрелой вещи сказались как бы еще и не Гоголь, не тот знаменитый автор, чьи произведения поражают мастерством отделки. И в то же время — это откровение о себе молодого гения тем более ценное, что блеск мастерства не затмевает здесь угловато и трепетно проявляющейся манеры художника. В «Ганце» явно обнаружилось неумение Гоголя строить сюжет. В кратком предисловии к поэме автор, выступавший в качестве издателя, вынужден был обратиться к публике с разъяснением по поводу отсутствия четкого сюжета: «Многие из картин сей идиллии, к сожалению, не уцелели...» Этот недостаток, важный и сам по себе, был следствием другого — молодому Гоголю не давалась обрисовка характеров, создание полнокров-

ных образов. Персонажи поэмы: Луиза — любовь главного героя, старый пастор, даже сам Ганц — очерчены крайне приблизительно, причем автор воспользовался набором романтических стереотипов, которые уже в то время воспринимались как штампы. Литературная родословная персонажей была уж слишком очевидна — поэт взял их из произведений немецких романтиков, завоевывавших на рубеже 30-х годов популярность у русского читателя. Гоголь даже и не старался скрыть заимствование — герои, взятые из немецких книжек, носили немецкие имена.

Но как только молодой автор говорил от собственного лица /как поэт-лирик/ или за Ганца, высказывая сокровенную мечту о великом поприще, слог поэмы, вялый, бесцветный, оживал, приобретал выразительность, картинность. Особо следует сказать о пейзажных зарисовках. Здесь автор, несмотря на многословность, неотделанность стихов, проявил подлинное мастерство:

Светает. Вот проглянула деревня,
Дома, сады. Все видно, все светло.
Вся в золоте сияет колокольня,
И блещет луч на стареньком заборе.
Пленительно оборотилось все
Вниз головой в серебряной воде:
Забор, и дом, и садик в ней такие ж;
Все движется в серебряной воде;
Синеет свод, и волны облак ходят,
И лес живой вот только не шумит.

В этой дважды изображенной картине деревни — сквозь дымку утреннего тумана, рассеянного солнечными лучами, и отраженной в воде — наивный восторг юноши, еще почти подростка, замороженного красотой открываемого им мира, удивительно совмещается с дерзостью художника-первопроходца.

Впрочем, мастерство Гоголя-пейзажиста, может быть, потому не было оценено, что пейзажная лирика в тот период еще не утвердилась в русской поэзии /Державин был отдаленным предтечей ее расцвета, еще у Пушкина нет чистого, «самодостаточного» пейзажа, в его стихах пейзаж подчинен психологическому заданию/. Достоинства поэмы не были осознаны современниками, зато недостатки ее были слишком очевидны.

Но не только особенности манеры Гоголя предопределили неуспех его первой работы. Эпоха органической культуры, связанная с именами Пушкина, Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Вяземского, к моменту вступления Гоголя на литературное поприще завершалась. Эта культура была пронизана, согрета интересом к человеку. Человек стоял в центре ее. Он творил ее из рассказа о себе, о своих мечтаниях, своем быте, обращаясь к тесному кругу знакомых, в чьем внимании был уверен и на чей отклик мог рассчитывать.

На рубеже 30-х годов в литературу проникает коммерция, буржуазные отношения. Всеотчуждающий дух буржуазности создает пропасть

между автором и аудиторией — вчерашними партнерами в деле созидания культуры. Личность утрачивает свою значимость, свою притягательность, а значит, и безусловное право на внимание публики. В то же время дух отчуждения манил, подстрекал, провоцировал одним махом переключить пропасть, завоевать аудиторию, по праву сильного приковать к себе ее внимание.

В этой-то обстановке и состоялся дебют Гоголя. Он попытался завоевать аудиторию и натолкнулся на стену безразличия. Реакция молодого поэта была крайне болезненна. Гоголь скупает экземпляры своей уничтоженной критиками поэмы и уничтожает ее не метафорически, буквально

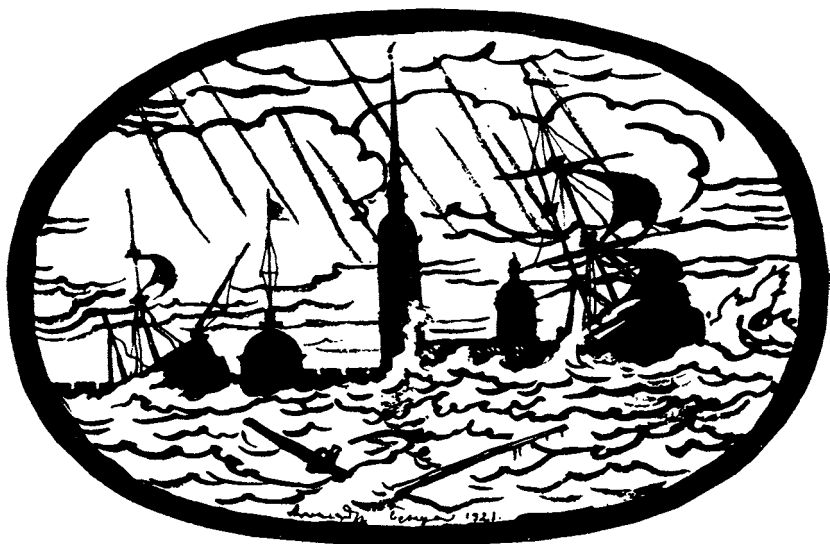


Рис. А. Бенуа

но — сжигает. Он бежит от позора, от самого себя в Европу, растрачивая при этом с трудом собранные матерью деньги, предназначенные для уплаты процентов за заложенное имение /это при его рачительности в денежных вопросах и при любви к домашним!/. Возвращается в Петербург, ищет работу, пытается устроиться актером, получает отказ и наконец поступает писцом в Департамент государственного хозяйства и публичных зданий.

Вдохновенный мечтатель и писец в Департаменте — разительный контраст! Теперь Гоголь сосед какого-нибудь Акакия Акакиевича, они вместе смеются шуткам, вместе ждут выплаты жалованья. Теперь Гоголь один из тех петербургских мелких чиновников, о которых еще совсем недавно писал едва ли не с ужасом: «Никакой дух не блестит в народе, всё служащие да должностные, все толкуют о своих департамен-

тах да коллегиях, все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их».

Гоголь сам назовет это время переломом. Обретая некоторое душевное равновесие, он будет даже рассуждать о благотворности происшедшего: «Этот перелом для меня необходим... Мне нужно переделать себя, переродиться». Он мечтает «расцвести силою души в вечном труде и деятельности». Впрочем, мечты стали куда менее идиллическими. Гоголь уже не надеется, что «мир прекрасный» сам отворит ворота перед ним. Совсем другие слова он выбирает: расцвести с и л о ю д у ш и. А вскоре автор осмеянной поэмы заговорит в письмах о «железной воле».

Да, железная воля нужна была, чтобы, несмотря ни на что, вновь взяться за перо, засадить себя за работу. Надо было писать. Иначе так и останешься одним из толпы «служащих да должностных». А этого Гоголь позволить себе не мог, хотя бы потому, что сознавал ответственность за данный ему талант. «Вечный труд», о котором он пишет, разумеется, не труд писца, а литературная работа. Однако это уже не мог быть тот же труд, что породил на свет «Ганца Кюхельгартена». Ибо процесс переделки, перерождения начался. И важнейшим его результатом был отказ Гоголя от стихов.

Отказ поэта от стихов в известном смысле равнозначен отказу от самого себя. Этот шаг Гоголя дает нам почувствовать ужас, охвативший автора осмеянной поэмы, ужас личности, осознавшей, что ее откровение о себе никого не интересует, что в глазах толпы она ничего не значит — ноль среди множества нолей. Даже не один ноль, а вот так: 0000. Эту подпись поставит Гоголь под одним из своих новых — прозаических — произведений.

Казалось бы, цена была непомерной — отказ от себя, во всяком случае, решительная перестройка себя. Но такой ценой сберегалось главное — творческий дар. Умирая для литературы как поэт, Гоголь воскресал прозаиком, наделенным огромной «лирической силой». Упуская из вида первый опыт Гоголя, исследователи лишаются возможности правильно осмыслить развитие его дарования. Забывают свидетельство самого писателя, сжегшего первую поэму, но не отрекшегося от поэтической работы: «Первые мои опыты, первые мои упражнения в сочинениях... были почти все в л и р и ч е с к о м и с е р ь е з н о м /разрядка наша, характерно постоянно встречающееся у Гоголя отождествление «лирического» и «серьезного», противостоящих «комическому» и «незначительному». — Авторы/. Ни я сам, ни сотоварищи мои... не думали, что мне п р и д е т с я /какое точное слово для объяснения перехода Гоголя к прозе. — Авторы/ быть писателем комическим и сатирическим». «Лирическая сила», о которой писал сам Гоголь, представляется зачастую как своего рода «добавка» к таланту сатирика, бытописателя, психолога. Между тем «лирическая сила», «вьюга вдохновения» — это и есть проявление своеобразия художественного мышления Гоголя, его поэтической сути.

В том же, страшном для него 1829 году Гоголь принимается за работу над повестями, вошедшими впоследствии в первый том «Вечеров на хуторе близ Диканьки». В Петербурге в то время усиливается интерес к

украинской истории, к этнографическому материалу, и Гоголь усматривает в этом шанс зарекомендовать себя, обратить на себя внимание. «Здесь так занимает всех все малороссийское», — пишет он матери и просит, требует искать, записывать старинные украинские сказки, передавать, покупать и присылать ему национальную одежду. Просьбы повторяются чуть ли не в каждом письме домой. В одном из них он извиняется за настойчивость и поясняет: «Весь мой доход состоит в том, что иногда напишу или переведу какую-нибудь статейку для г. журналистов, и потому Вы не сердитесь, моя великодушная маменька, если я Вас часто беспокою просьбою доставить мне сведения о Малороссии или что-либо подобное. Это составляет мой хлеб».

Гоголь все пускает в дело — наряду с выигрышным этнографическим материалом он использует дар схватывать комическое в человеке: Писец Департамента уделов /он уже переменял место службы/ по ночам сочиняет простодушные малороссийские истории, которые должны рассмешить петербургскую публику.

Расчет оправдался — «Вечера на хуторе близ Диканьки» вышли в 1831 году и столица засмеялась. Первыми — наборщики. Гоголь рассказывал, что, войдя в типографию, он услышал смех рабочих. Ему объяснили, что «штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, очень до чрезвычайности забавны». Потом засмеялись все. «Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, а местами какая поэзия!» — писал Пушкин.

Отзывы критики в целом были благоприятными. Правда, и рецензент «Сына Отечества», и Н. Полевой упрекнули автора в недостаточном знании украинского быта и истории. Серьезный упрек для автора, разрабатывающего этнографический материал. Впоследствии, после второго издания «Вечеров», критические замечания высказал и Пушкин. «Мы так были благодарны молодому автору, — вспоминал он о первом издании повестей, — что охотно простили ему неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобность некоторых рассказов». Пушкин объяснял эти недостатки молодостью, неопытностью автора. Он не знал, что перед ним творение поэта, заставившего себя писать прозу, но не утратившего своеобразного мышления стихотворца, сказавшегося и в свободном отношении к бытовому материалу, и в недостаточной выстроенности сюжета, который был отодвинут на второй план яркими и точными деталями, поэтичными картинами природы, сочными словами народного языка.

Впрочем, какими бы оговорками ни сопровождалась похвала критиков, успех был налицо. Гоголь добился своего — он смешил Петербург, на него обратили внимание. Но он недоволен. В 1833 году, когда зашла речь о переиздании первой части «Вечеров», он писал М. Погодину: «Вы спрашиваете об Вечерах Диканских. Черт с ними!.. Да обречутся они неизвестности! покамест что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня».

Успех «Вечеров» был успехом Пасичника Рудого, от имени которого они написаны. Гоголь, поэт, жаждавший открыть свою душу миру, был по-прежнему безразличен обществу. Даже в 1836 году, уже прославив-

шись как автор «Ревизора», он был для своей великосветской знакомой А. Смирновой-Россет «человеком, которого ни в грош не ставят». Вспоминая об этом, Смирнова-Россет сама удивлялась: странно, «потому что я читала с восторгом «Вечера»...». На самом деле ничего странного не было. В «Вечерах» сказался талант Гоголя, конечно, сказался и сам Гоголь, и все же не настолько, чтобы личность художника узнавалась в образе автора малороссийских повестей. «Автор должен /разрядка наша.— Авторы/ был весь спрятаться за своих героев»,— писал о своей прозаической работе Гоголь.

Ни одно из его прозаических и драматических произведений не рождало в Гоголе чувство, что он высказался перед читателями, открылся им. Старые раны не заживали. «Если бы вы знали,— писал он М. Максимовичу,— какие со мною происходили страшные перевороты, как сильно растерзано все внутри меня. Боже, сколько я пережег, сколько перестрадал!» «Пережег» — здесь слышны отзвуки катастрофы с «Ганцем Кюхельгартеном», но «перестрадал» — это и нынешнее состояние Гоголя, страдавшего от невысказанности, непонимания. Автором, «долго жившим в самом себе и страдавшим от неумения высказаться», назовет он себя /к сожалению, эта автохарактеристика, важная для понимания психологии Гоголя, редко приводится исследователями и биографами писателя/.

К концу 30-х годов Гоголь все более укрепляется в мысли, что только разговор с читателем от первого лица сможет оказать желаемое воздействие на современную аудиторию. В период отчуждения автора от читателя преодолеть эту отчужденность, по мнению Гоголя, может только прямо обращенное к публике страстное слово поэта. «Нынешнее время есть именно поприще для лирического поэта»,— утверждает Гоголь. «Оглянись вокруг,— обращается он к Языкову,— все теперь предметы для лирического поэта; всяк человек требует лирического воззвания к нему; воззови,— продолжает Гоголь,— в виде лирического сильного воззвания к прекрасному, но дремлющему человеку...»

С этими настроениями Гоголь приступает к работе над второй своей поэмой. Сначала возник замысел романа, в котором автор «с одного боку», то есть в сатирической манере, хотел изобразить всю Россию. Но уже вскоре замысел расширяется, Гоголь стремится к полному охвату жизни родины. Тогда же появляется и непривычное для произведения, написанного прозой, жанровое определение — поэма.

В процессе работы над «Мертвыми душами» Гоголь пишет письмо М. Погодину — бесценный для понимания становления художественного мышления автора документ. В нем Гоголь подвергает переоценке прежнюю деятельность с позиции творца, работающего над итоговым произведением. «Гордость, которую знают только поэты, которая росла со мною в колыбели, наконец, не вынесла,— заявляет он.— О, какое презрение, какое низкое состояние... дыбом волос подымается. Люди, рожденные для оплеухи, для сводничества... и перед этими людьми... мимо, мимо их! и доньне не достанет духа назвать их. Не тревожь меня мелочными просьбами о статейках журнальных... Не веди речи о театре: кроме мерзости, ничего другого не соединяется с ним». И тут же Гоголь откры-

вает своему корреспонденту, в о и м я ч е г о он отказывается от работы, к которой прежде принуждал себя: «Вещь, над которой сижу и тружусь теперь, и которую долго обдумывал, и которую долго еще буду обдумывать, не похожа ни на повесть, ни на роман, длинная, длинная, в несколько томов, название ей «Мертвые души» — вот все, что ты должен покамест узнать об ней. Если Бог поможет выполнить мне мою поэму так, как должно, то это будет первое мое порядочное творение. Вся Русь отзовется в нем».

Лирический дар /чтобы спасти его, Гоголь когда-то обрекал себя на перестройку/ теперь диктовал ему отречься от своих комических произведений и вновь обратиться к поэме. Гоголь возвращался к себе, своему призванию.

Но и перестройка не прошла даром. Урок «Ганца Кюхельгартена» многому научил Гоголя. То, что его откровение о себе никого не заинтересовало, разумеется, глубоко ранило молодого поэта. Но и привело к мысли, что необходимо стать «больше» себя, раздвинуть границы своего «я», сделать частью души историю народа, его предания, обычаи, быт. Интерес к украинской старине, поверхностный и даже во многом конъюнктурный в период работы над «Вечерами», впоследствии углубляется. Гоголь даже собирался писать историю Малороссии. Вскоре объектом его интереса стала судьба всей России. Здесь не место сколько-нибудь подробно говорить о Гоголе-историке, но, несомненно, его влечение к старине было влечением не столько ученого, сколько поэта. Недаром народные песни как источник, помогающий понять историю, он ставил выше летописей. Недаром как на образец историка он указывал на Шиллера.

Гоголь стремился вобрать в душу как прошлое России, так и ее современность, осмыслить исторический путь страны, а отчасти и указать будущее развитие. Объектом его глубоко личного лирического переживания стала судьба родины. Слово откровения о себе, которое едва ли не впервые после неудачи с «Ганцем Кюхельгартеном» готов был произвести Гоголь, было одновременно и словом о судьбе России.

Гоголь возвращался к себе. Но возвращался не как чисто лирический поэт, а как художник, соединивший лирическую силу с эпической широтой.

Исследователи спорят о жанровом определении, которое автор дал «Мертвым душам». Сразу же после опубликования первого тома в 1842 году часть критиков — резче других Полевой — поставили под сомнение правомерность такого определения *. Напротив, Иван Аксаков построил брошюру «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова или Мертвые души» на отождествлении гоголевского произведения с эпическими поэмами Гомера. Подобные противоположные точки зрения впоследствии не раз высказывались историками литературы.

Стремление формально истолковать жанровое определение гоголевского произведения, на наш взгляд, в принципе непродуктивно. Приме-

* Н. Полевой писал: «Мы совсем не думаем осуждать г-на Гоголя за то, что он назвал «Мертвые души» поэмою. Разумеется, что такое название шутка».

чтателен ответ Гоголя на брошюру И. Аксакова, пытавшегося осмыслить природу «Мертвых душ» через сопоставление с поэмами Гомера: «Вы, любя меня, не любите». Попытке формально истолковать жанр его произведения он противопоставляет нечто совершенно неформальное — самого себя, личность творца.

«Мертвые души» — больше чем литературная реальность. Это реальность жизненная. Гоголь глубоко сознал необычность своего творения. На просьбы почитателей скорее дописать поэму он постоянно отвечает, что еще чего-то не пережил, что не достиг того состояния, в котором поэма могла быть завершена. Нарекая «Мертвые души» поэмой, Гоголь, по нашему убеждению, стремился выразить характер своего мироотношения в этот период, как и в пору дебюта, властно определяемого лирическим началом. Жанровое обозначение указывало на организующий принцип произведения. Принцип, рожденный в сокровенной глубине личности художника и определяющий все — слово, характер образов, структуру. Таким принципом в «Мертвых душах» является лирическое отношение к миру — объекту изображения, «материалу» и адресату произведения.

Своеобразны отношения автора и персонажей поэмы. Образный мир «Мертвых душ» непосредственно, интимно связан с личностью автора. Жажда самовыражения, долго подавлявшаяся писателем в период работы над «Мертвыми душами», властно проявила себя. «Я даже не могу заговорить теперь ни о чем, кроме того, что близко моей собственной душе», — признавался Гоголь. Стремление к исповедальности определяет его отношения с героями, в корне отличающиеся от тех, что устанавливаются между автором и персонажами в прозаическом произведении. Не случайно Гоголь отбрасывает идею написания романа, в котором первоначально хотел реализовать замысел «Мертвых душ». Он пишет поэму. «Поэзия есть чистая исповедь души». Соответственно строятся и его отношения с героями: «Герои мои потому близки душе, что они из души; все мои последние сочинения — история моей собственной души».

В то же время было бы глубоко ошибочным рассматривать связь автора и его персонажей в плане биографическом. Связь эта нуждается в осмыслении на творческом уровне. Сам Гоголь предостерегал от отождествления себя с лицами, им изображенными: «Не думай, однако, после этой исповеди, чтобы я сам был такой же урод, какóвы мои герои. Нет, я не похож на них». И далее писатель раскрывает своеобразие построения образов поэмы: «Взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом званье и на другом поприще». То есть отторгал от себя свои недостатки, представляя их в абсолютизированном виде, выращивал до образа, наделяя лицом и плотью. Более того, можно утверждать, что творческий дух побуждал Гоголя осмыслять как л и ч н ы е недостатки качества, ему самому неприсущие или присущие в очень малой степени. Гоголь, объявляющий, что наделил героев своими «мерзостями», — это не частный человек, но поэт, вместивший в свою душу Россию со всеми ее светлыми и теньвыми сторонами.

Любимое слово литераторов, писавших о Гоголе, — «бичевал». Но во имя чего? Как бичевал? Как наблюдатель, уличающий чужих ему лю-

дей, сыплющий сарказмами по поводу современного положения дел? Нет. Гоголь обличал любя, веря в высокое предназначение изображенных им людей, в высокую будущность России. Он страстно верил в преобразование «мертвых душ» и пытался приблизить это событие. Даже с Плюшкиным Гоголь связывает великие мечтания. «О если бы ты мог,— обращался он к виднейшему поэту своего времени Н. Языкову,— сказать... то, что должен сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома «Мертвых душ». Вдумайтесь, оказывается, «ничтожный» Плюшкин в представлении Гоголя не только не утратил способности к преобразению, но, по мнению писателя, может обрести душевные силы, творческий дар, позволяющий сказать слова, которые не под силу вымолвить лучшему современному поэту!

Горькая правда о России, высказанная Гоголем, была правдой соотечественника, взявшего на себя ответственность за все, что происходит в стране. И потому то была правда из любви, а не из ненависти. Тут уместно вспомнить это выражение ближайшего друга Гоголя, оказавшего огромное влияние на него, В. А. Жуковского. Жуковский писал Н. Тургеневу, обличавшему современную Россию: «Правда всего святее, ты скажешь, из любви к отечеству ты обязан ему правдою, хотя и тяжкою. И я скажу, правда всего святее, но правда из любви, а не из ненависти». Правда из любви — таков завет всей русской классической литературы. Но Гоголь, воплощая его в своем творчестве, избрал наиболее драматичную форму — горькую правду о стране он говорил как правду о самом себе.

Сродненность автора с героями в «Мертвых душах» имела не только идейно-художественное обоснование. Интимное участие автора в судьбе персонажей было обусловлено и причинами, так сказать, «технического» порядка. Мы возвращаемся к разговору об особенностях художественного мышления Гоголя, о том, что он «умел», а чего «не умел».

С трудностями при создании полноценных художественных образов Гоголь столкнулся еще при работе над «Ганцем Кюхельгартенем». В дальнейшем писатель зачастую шел по пути разработки какой-нибудь одной черты характера, гипертрофировал ее, подменяя ею живой образ. Особенно этот метод подходил для создания образов отрицательных, сатирических. Карикатурными назвал свои персонажи сам Гоголь и предостерег от копирования своих приемов. О карикатурности гоголевских персонажей говорили и современники, и ряд исследователей творчества писателя /В. Розанов, П. Бицилли/.

В «Мертвых душах» некоторая эскизность, статичность персонажей компенсируется мощным лирическим порывом автора, роднящим его с ними. В этом порыве — залог преобразования героев, их становления как подлинно живых, самостоятельных и положительно деятельных персонажей.

Своеобразно и слово гоголевской поэмы. Слово «Мертвых душ» во многом близко слову лирической поэзии. Оно в большей степени определяется интонационным развитием /как в поэзии/, чем движением сюжета/ как обычно бывает в прозе/*.

* Об огромной роли интонации в «Мертвых душах» интересно пишет В. Турбин в книге «Герои Гоголя» /Москва, 1983/.

рует над сюжетом. Она омывает сюжет со всех сторон, наращивая на его простенький костяк /«незначущий сюжет» — определение самого Гоголя/ богатую художественную ткань. Анекдот, который можно рассказать за две минуты, разрастается в масштабное произведение. Вышеается до поэмы.

Лирическая стихия проявляется и в структуре «Мертвых душ». Она делает произведение, насыщенное множеством бытовых, неприглядных подробностей, поэмой, «русской поэмой», как назвал ее Гоголь. Она вскрывает затхлый мирок провинциального города, открывает его навстречу подлинному миру, вселенной. Действие «Мертвых душ» разворачивается в двух планах — на переднем совершается призрачная афера, создаются и рушатся призрачные репутации, на заднем — разворачивается живая жизнь, работают, раздольничают и умирают беглые крестьяне Плюшкина, зреют хлеба, широко раздается над водой и полями русская песня. Там, на втором плане, вершится судьба России, там скачет неудержимая тройка, оттуда, заливая фантастическим светом картину губернского центра, низвергается на него карнавальная стихия, разоблачающая аферы и разрушающая закоснелый быт. Оттуда же должно было, по мысли Гоголя, прозвучать страшное, торжественное слово, призванное поразить и преобразить людей, изображенных в поэме. Это план лирических отступлений, пронизывающих, организующих «Мертвые души» как поэму.

Гоголь всю жизнь служил поэзии, поклонялся ей. Однако неудачный дебют, как и общее развитие литературной ситуации, надолго сделал мысль о поэтическом поприще мечтой. Лишь на вершине своего писательского успеха Гоголь вновь обратился к работе над поэмой, создав оригинальнейшее произведение — «Мертвые души». Начало и завершение — между ними у Гоголя более двух десятилетий. Но своеобразие его творчества в том, что живая, интенсивная связь с истоком осуществлялась как через толщу лет, через накопленный за прожитые годы опыт, так и «поверх» периода работы в прозе и драматургии. «Ганц Кюхельgarten» незримо присутствует в «Мертвых душах» как осуществленная мечта — не о конкретном произведении — о судьбе, посвященной поэзии. Гоголь — автор двух поэм. Их художественное значение несоизмеримо, но пафос, но художественные особенности последнего творения Гоголя нельзя до конца понять вне связи с его первым произведением.

ВЛАДИМИР ГРЕКОВ

ДВИЖЕНИЕ ДОБРА

Слово поэта уже несет в себе исповедь. Ведь оно и говорится, чтобы передать самое сокровенное, выстраданное, продуманное человеку близкому, способному понять и оценить его.

Публикуемое ниже письмо И. С. Аксакова к Ф. В. Чижову — документ необычный. Преодолевая привычную сдержанность, поэт переступает некую грань, за которой становится возможна полная откровенность. Федор Васильевич Чижов, публицист и ученый, стал для И. Аксакова тем близким человеком, с кем можно было поделиться своей болью, рассчитывая на понимание и сострадание.

Еще в 1860 году И. Аксаков признавался в письме к Н. С. Соханской: «Моя жизнь вся состояла из порывов, из лирических возношений на недостижимую высоту и внезапных падений в глубь преисподней». В письме Аксакова к Ф. В. Чижову раскрыта — очень искренне и подробно — вся последовательность этих «возношений» и «падений». Поэт пытается нащупать закономерности, причины этого движения, исследует не внешнюю канву жизни, а побудительные мотивы творчества. Две силы постоянно противостояли и противоборствовали в душе поэта: ощущение «страшной силы», заставляющей писать, и сомнение в своем поэтическом таланте. Прибавьте разочарование в других способах принести общественную пользу, чувство одиночества, не всегда исчезавшее даже в семейном кругу, несмотря на любовь и дружбу, которые объединяли всех членов семьи Аксаковых, и горечь неудач, от которых не избавлен никто. В один из таких моментов «падения» Иван Аксаков писал отцу: «Когда... примусь за стихи, не знаю... Холодом веет от всех этих высоких мыслей, ничьей души не греют эти порывы бесприкладного благородства, все равно, как не греют они и моей». Минутное настроение? Едва ли. С. Т. Аксаков тогда отвечал сыну: «Ты прав, что содержание твоих стихов не всем доступно, но зачем тебе всех, зачем толпа? Неправда, чтоб холодом веяло от высоких мыслей и чтоб они не грели ничьей и даже твоей души...»

Проблема взлетов и падений, понимания и непонимания. Кто может, кто возьмется рассудить извечный спор поэта и толпы? Пушкин не признавал ничьей власти: «Ты сам свой высший суд!» И. Аксаков подчинил поэта Истории: «Пушкин был живой русский, исторически чув-

с т в о в а в ш и й человек» (разрядка наша.— В. Г.). «Историческое чувство» для Аксакова означает «уважение к своей земле, признание прав своего народа на самобытную историческую жизнь и органическое развитие...». Аксаков вообще избегает противопоставления поэта и общества потому, что мир един. И если «толпа» не внемлет поэту, то виновна не только толпа, но и поэт. Дело поэта — согреть человеческую душу, пробуждая в ней «любовь и скорбь». Но «так незаметно дело зреет. Так мало вас, которых греет Любви и скорби благодать!» («Среди удобных и ленивых»). Гоголь писал Н. Языкову, что в И. Аксакове «виден талант решительный, стремление приспособить поэзию к делу и к законному влиянию на современные события, хотя сам поэт для этого еще не воспитался и, вероятно, будет долго еще ходить и колесить около, пока не попадет на самое дело».

По выражению В. С. Аксаковой, «дело Гоголя — дело души». Перефразируя эти слова, можно сказать, что дело И. Аксакова — дело добра. Причем добро в его представлении — начало деятельное. Он не ограничивается признанием полярности мира, как Константин Аксаков, писавший позднее: «В душе видна повсюду смежность Добра и зла». Анализу, разъединению мира И. Аксаков противопоставляет синтез — призыв «сторожить тревожным слухом движение всякое добра». Он хочет воскресить человека в равнодушном обывателе, вслед за Гоголем старается возлюбить и возвести в «перл создания» обыкновенного человека, помочь ему измениться, стать самим собой. В письме к А. Ф. Тютчевой он утверждает в 1865 году: «...В каждом человеке есть идеал — его же внутренняя истинная физиономия, его тип, его лучшее, относительно которого сам человек может быть неверен. Я могу быть хуже меня **самого**, вы можете быть хуже вас **самих**, но для меня важно именно это его **самое** в человеке».

Ощущая собственную раздвоенность, «двойственность влечений», он обращается к народу, еще не утратившему, по мнению поэта, первоначальную духовную и нравственную цельность. В поэме «Зимняя дорога» Аксаков писал: «Блеском внутреннего света, Жаром тайного огня, Вечной истиной согрета Жизнь народа для меня». Но ведь и народ, как человек, хранит свои идеалы, имеет характер, который еще требуется разгадать, постичь интуитивно, воображением. Образы поэта возникают не в пустоте, они рождаются, по мнению Аксакова, «историческим сознанием» народа.

Сознание народа прежде всего выражает способность соединять пользу материальную и нравственную. Когда «вещественное добро сопровождается добром нравственным», писал Аксаков в одной из статей, в обществе возникает «нравственная атмосфера», это «возвышает дух» и отдельного человека, и всего народа, «поддерживает в народе начало любви и правды». В противном случае, то есть когда «преобладают явления пользы без нравственного содержания», наступает оскудение духа.

В стихотворении «Русскому поэту» И. Аксаков писал о творце-художнике: «Весь мир в нем дивно отразится, И все, чем душу мир проник, В огне души преобразится И обретет себе язык...»

Слово поэта приобретает, таким образом, объективность. Это значит, что он сознательно следит за «движением добра», чтобы передать это движение самой жизни.

* * *

Письмо-исповедь начинается припиской, помещенной сверху листа. Она сделана позже, но как бы предваряет текст послания к Чижову. Последняя фраза приписки не поместилась и перенесена знаком «х» влево, на поля страницы.

ИВАН АКСАКОВ

ПИСЬМО Ф. В. ЧИЖОВУ /1866 Г./

В Предупреждаю, что это письмо очень искренне и может быть даже местами излишне откровенное, а потому и прочтите его тогда, когда почувствуете себя в настроении, способном принять чужую откровенность серьезно. Иначе многое покажется комическим. Мне просто совестно стало, что я так пространно говорю о своей собственной персоне.

Дорогой Федор Васильевич — благодарю вас всю душою за ваше дружеское письмо. Как ни строги высказываемые в нем требования, но они совершенно истинны — сами по себе. Сомневаться можно только в том, — приложимы ли они ко мне. Во всяком случае — скажу вам по совести: эти требования, вместе с серьезностью вашей дружбы, поднимают меня в собственных глазах и придают мне силы. Когда неделю тому назад я получил ваше письмо, я хотел просить у вас снисхождения — не к художнику, нет, а к человеку, у которого художественного призвания настолько, насколько нужно, чтобы произвести в нем чесотку, не больше. Это мучение особенного рода. Недостаток творчества при позывах творить — казнь Танталя. Художественный элемент во мне сильно подорван жизнью, анализом, внешнею, вовсе не художественною деятельностью, требованиями логического мышления, систематизированием и проч.¹ Наоборот: и логическое отвлеченное мышление и воля от того слабо развиты, что смущаются постоянно вторгающимся в них художественным элементом со всеми его своенравными причудами. Эта неопределенность моего внутреннего призвания, эта двойственность влечений сознаваема мною уже давно — и отражается в моих стихотворениях. Вы их не вполне, разумеется, знаете. Я истинно сам очень невысокого мнения о стихах своих, но скажу вам: они кость от костей моих, кровь от крови². Они имеют достоинство искренности и что немцы называют — внутреннего Ernst /серьезности, строгости.— В. Г./.

Моя стихотворная деятельность открылась очень робко, написанною для моих товарищей «ми-

стерией» под названием «Жизнь чиновника», где ставится вопрос: служить или не служить, отдаться ли искусству, или отвергнуть его. Чиновник избирает службу, гибнет, пред смертью кается, говорит:

Поздно все. Не путь избранный
Был твой подлинный удел.
И талант, от Бога данный,
Ты возделать не успел!

Простите, что я пускаюсь в подробности, но они мне нужны, чтобы вы лучше поняли меня. До сих пор не постигаю, по какому праву я себе это говорил. Моего поэтического призвания никто не признавал в семье серьезным образом³, да я и стихи показывал с застенчивостью, как будто незаконное дело. Рукопись моя /написанная в 1843 г./ попала к одному моему товарищу в Петербурге, тот показал ее Краевскому, который, едучи в Москву, привез ее с собою, ее прочли торжественно на вечере у Грановского, и тогда началась моя известность как стихотворца, хотя далеко не всеобщая. Я в это самое время уже служил и находился в Астрахани. Я не мог не служить — потому, что был воспитанником Училища Правоведения, потому что не был приготовлен к иной деятельности, потому, наконец, что я не смел и признавать в себе поэтического дара, когда вступал на службу. Назвать себя «художником», «поэтом» я и потом никогда не решался. Знаете ли: несмотря на литературный характер семейного быта нашего, уважения к личности члена семьи /особенно младшего/, как художника, не было никогда⁴. А эта личность имеет свои законные требования! Но предъявлять их я никогда не смел. С тех пор мучительное раздвоение внутреннее стало еще сильнее. Оно высказывается во всех моих стихах первых четырех или пяти лет, между прочим, и в «Ответе Языкову», приглашавшему меня бросить службу⁵. Я не имел достаточно веры в свое художественное дарование и призвание, чтоб сказать себе: отдайся ему, и настолько носил его в себе, что оно не давало мне покоя в моей служебной деятельности. Знаете ли вы, что я с собою делал? В молодости я был несравненно суровее, чем теперь, и воля крепче: дома я балован не был, а годы в школе — самые мои горькие годы: я чуть не два года сряду имел репутацию **глупого, дурака**⁶. Я бежал, как огня, музыки и всего, что настроивает человека поэтически: чуть начинались сумерки, я зажигал свечи, потому что любил сумерки и знал их власть надо мной.

Так продолжалось очень, очень долго, и разумеется, все это было неблагоприятно для таланта. Иногда поэзия брала свое, но я очищал ей поле преимущественно гражданского содержания. При этом внутреннем колебании ничего не оставалось мне делать, или лучше сказать представлялось самым легким средством исхода: ухватиться за деятельность внешнюю, такую, которая бы не давала отдыха и времени раздумью. Деятельность мыслительная была опасна тем, что переходила легко в область художественной деятельности, а ей я — не верил.

«Я душу вредного досуга
И сердце голоса лишил!»

Оставалось опозитизировать службу, возвести ее на степень гордого аскетизма, что я и сделал, что мне было легко при моем поэтическом лиризме. Я был лириком в обер-секретарстве. Тем не менее, после долгой, 15-часовой работы за сенатскими делами, я в награду себе позволял часик, другой позаняться «поэзией», и таким образом написал «Бродягу», который весь шит из лоскутьев... А между тем, как мне хотелось порой бросить все и бежать... Но практический смысл, приобретенный практической деятельностью, говорил мне иное, говорил, что мой поэтический дар — «просто молодости жар», что это призвание мнимое, что содержания для моей художнической деятельности нет, и проч. и проч.— Прибавьте к этому гражданское направление, взлелеянное с детства, опозитизирование «борьбы», «общего блага», «жертв», «героизма» и т. п. Такое направление было само по себе неблагоприятно чистому художественному развитию, давало одностороннее направление поэзии. Прибавьте к этому общее давление нравственное всего кружка славянофильского, лишавшее нравственной свободы своего сочлена. От этого и происходило, что я мог оставаться в одной должности на службе до тех пор, пока я относился к ней с участием; как скоро же она начинала обращаться в привычку и потому деятельность принимала несколько механический пошлый характер,— я спешил переменить службу.

Поэтому у меня была потребность не внешней деятельности вообще, а деятельности лирической, деятельности внешней, в которую бы я мог обратить весь свой поэтический жар.— Значит, скажете вы, и сам я себе говорю: истинного художественного призвания и не было, иначе бы оно сказалось, взяло свое, дало бы какие-нибудь залогов, а я, по правде сказать, ведь ничего серьезного, важного в поэзии не произвел? Так, но — может быть, я и ошибаюсь,— мне сдается, что во мне было что-то существенное, что не получило должного развития, что убито, затерто, скомкано. Порой слышу я в себе какую-то страшную силу... Может быть, поэтические обманы чувства?—Служба была возможна для меня, покуда, я в нее верил; как скоро же угасла эта вера, вера в пользу общественную, приносимую службой, я вышел в отставку. Тут-то, кажется, и наступило самое благоприятное время для деятельности художественной. Тут действительно полезен был бы мне мудрый совет... Но вышло иначе. Из службы, державшей меня по необходимости в отдалении от Москвы, в положении, совершенно независимом от семьи и от знакомых, я попал в Москву, в дом, где не имел даже своей комнаты. Привычка внешней лирической деятельности была уже очень сильна во мне. Я не знал:

Куда девать избыток сил —

бросался за ученые занятия, но дело не шло на лад. Для них нужен был не только досуг, но полное уединение. Мне труднее, чем кому-либо выдержанный ученый труд — от избытка жара лирического. Я вам потом это дальше объясню. Не смейтесь и верьте мне: никому в жизни я в этом не сознавался. Но даже имея значение человека практического в кругу людей отвлеченных, ученых,— не будучи подготовлен предварительным образованием и жизнью ни к какому ученому труду, ни к какой ученой специальности, следовательно — будучи не вправе предьявлять и требо-

ваний на досуг, нужный для ученого; подорвав в самом себе поэтический дар сомнением, отчасти ложным взглядом на искусство⁷, наконец, диссонансом, внесенным в мою жизнь всем неестественным ее ходом, я поневоле должен был принять на себя деятельность внешне-литературную нашего круга. Очень тяжело положение человека, не подготовленного, попавшего в круг людей готовых, ученых; положение ученика в обществе профессоров, но не как ученика, а как равного. От него требуется также деятельность и производительность ученая, а ему дать нечего: занять положение «поэта», «художника» я не мог, потому что не имел на это права, потому что оно слишком смешно и потому что это «звание» требует совершенной свободы.— Деятельность внешне-литературная была совершенно неудачна. Господи! Сколько потеряно времени даром! Самое лучшее было бы тогда для меня уехать года на четыре за границу. Но...

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуемое письмо датируется приблизительно 1866 годом, поскольку упоминаемые славянофильские издания, в частности газета «День», рассматриваются как завершенные. Окончание письма Аксакова утеряно. Печатается по автографу — отдел рукописей ГБЛ, ф. 332, карт. 15, ед. хр. 5, лл. 20—21 об.

¹ Сравните отзыв И. С. Тургенева о поэзии И. Аксакова: «Ваши стихи имеют все качества поэзии; кроме того тонкого, неуловимого — того запаха, которым дышит, играя, счастливая и свободная жизнь. Но откуда взять... счастья в наше сухое, трудное и горькое время? Спасибо Вам и за то, что Вы нам дали».

² 24/XI 1845 года И. Аксаков писал брату Константину: «Обращался к самому себе и в самом деле находил в себе способность все понять, но не находил этого цельного живого пламени таланта (...) Стихи мои... Но нет в них магического очарования (...); это какой-то мозаичный сбор стихов, и, когда вспомню, сколько каждые стихи стоят мне заботы и времени, сколько, несмотря на труды и усилия, в них неровностей, недостатков, мне делается стыдно и совестно... А я все бы на свете отдал за истинный пламень дарования, за минуту искреннего вдохновения...»

³ Это утверждение (как и последующее) не совсем справедливо. С. Т. Аксаков интересовался поэтическими опытами сына, часто в своих письмах разбирал его стихи. Он радовался успехам И. Аксакова, сообщал ему о впечатлении знакомых, которым давал читать его стихи. Ср. также письмо В. С. Аксаковой к С. Т. Аксакову, пересказывающее мнение Гоголя: (Гоголь) «попросил ему дать стихи Ивана, чтобы прочесть хоть две странички; прочел и до чрезвычайности хвалил. Говорит, что все дары ему даны, прекрасный стих, тонкая наблюдательность и т. д. Теперь будет

зависеть только от него, как он воспользуется жизнью — он так умеет заподмечать природу!». В январе 1850 года С. Т. Аксаков передавал сыну отзыв Гоголя: «Скажу тебе серьезно, что Гоголь высокого мнения о твоём таланте».

Вопрос о степени природного поэтического дарования для самолюбивого (и даже немного мнительного, обижавшегося на недооценку своего таланта отцом и братьями) И. Аксакова всегда был болезненным вопросом. В своих письмах он спрашивает, например: «Признаете ли вы за мной хоть какое-нибудь дарование литературное, если не поэтическое? Если да, то в таком случае мне не должно служить,— но пусть мне скажут откровенно свое мнение». (Ноябрь 1845 г., письмо к К. Аксакову.) Но в дальнейшей переписке мы не найдем прямого ответа на поставленный вопрос. Во всяком случае, никто не предложил ему бросить службу.

⁴ На первый взгляд И. Аксаков ошибается. Ведь он любил родителей, братьев, сестер и был любим не меньше, чем остальные (см. примечание 3).

Однако можно говорить о внутренней обособленности И. Аксакова, о напряженности в его отношениях с другими членами семьи. Такое предположение подтверждается дневниковыми записями В. С. Аксаковой. 16 ноября 1854 года она записывает: «Иван пишет... что скоро придет. Какое-то будет свидание? Дай бог, чтоб по крайней мере обошлось без волнений и наша семейная жизнь не была бы нарушена».

2 января 1855 года: «Иван уехал в Москву вечером. И для него, и для нас лучше быть врозь».

Один из первых исследователей творчества С. Т. Аксакова Вячеслав Каминский отмечал, что взаимное уважение членов семьи друг к другу, основанное на «строгой солидарности принципиальных взглядов», было принципом семейной жизни Аксаковых. Но это не исключало сложности и неоднозначности внутрисемейных отношений.

⁵ В 1846 году Н. М. Языков опубликовал в «Современнике» послание «И. С. Аксакову», в котором писал: «Прекрасны твои песнопенья живые, И сильны, и чисты, и звонки они...». Языков призывал Аксакова: «Живи ты высокою жизнью поэта И пой, как дубравная птица поет На воле...». Отвечая Языкову, Аксаков напоминал: «Но всюду нам среди пиров И всяких суетных занятий Да будут слышны вопли братий И стон молитв, и гром проклятий, И звуки страшные оков!» («Языкову»).

⁶ В 1838—1842 гг. И. Аксаков обучался в Императорском училище Правоведения в Петербурге. Нравственная атмосфера училища тяготила его. 8 декабря 1838 г. он писал брату Константину: «Ты, я думаю, помнишь, как я прежде думал о первенстве, о влиянии и т. п. Нет, я увлекался этою сосредоточенною жизнью, этими рассчитанными движениями, этою постоянною мыслию, которая одушевляет человека. Все это имело какую-то для меня прелесть, а совсем не почести, не первенство, или что-нибудь другое. Это сейчас было видно; встретились трудности, и я предпочел свободную, независимую, гордую жизнь товарищам, ибо я не

принадлежу ни к каким партиям, не нахожусь ни под чьим влиянием». (отдел рукописей ГБЛ, ф. 3, карт. 3, ед. хр. 16, л. 4).

Естественно, что такая независимость поведения вызвала вначале отчуждение и насмешки товарищей, о чем нам известно по письмам И. Аксакова к родным.

⁷ Возможно, Аксаков вспоминает здесь о своей недооценке искусства, его роли в общественной жизни страны. 21 сентября 1846 года он писал: «У нас в России, кроме этой деятельности (службы.— В. Г.), нет другой. Издание журнала почти невозможно, говорить страшно, писать стихи — не деятельность, а занятие случайное, временное...». Но в словах Аксакова ощутим намек на некое изменение эстетических взглядов. В 1847 году он размышлял о примирении искусства и жизни. Позднее приходит к идее «положительного направления» в литературе, то есть отражения в литературе исторического склада «народности», народного духа. «В том-то и состоит заслуга художника,— писал он Н. Соханской в 1864 году,— что он даже в нашей или близкой к нашей современности русской народной жизни — умеет познать и услышать ее эпический склад».

Публикация, подготовка текста и примечания
Владимира ГРЕКОВА

ЛЕВ СМИРНОВ

ПОСЛЕ ПЕРВОЙ КНИГИ

Дорога поэзии кажется гладкой, укатанной автострадой, на которой то одна машина вырывается вперед, то другая, лишь стихотворцам с психологией автогонщиков. Для истинных поэтов дорога поэзии — всегда медленное, трудное, многоступенчатое восхождение к недостижимой вершине.

Принято думать, что самое трудное в каждом деле — это начало. Даже поговорка гласит на этот счет: «Лиха беда начало...» Стоит, мол, только начать — все пойдет как по маслу. Но именно-то в поэзии все как раз наоборот. Самое легкое в поэзии — это первая книга. Потому что пишется она еще не мастером, а подмастерьем. Пишется легко, как бы сама собой. Сравнить ее не с чем, потому что она — первая и поэт не стоит перед задачей превзойти самого себя.

Первая книга может оказаться гениальной и остаться в таком роде единственной. Первую книгу поэт может писать всю жизнь. Вторая, третья, четвертая и все последующие книги могут оказаться лишь расширенным изданием первой. Настоящая в т о р а я книга — вот главная трудность в жизни молодого поэта.

Вспоминается Альфред де Виньи: «Литература имеет то роковое свойство, что положение в ней никогда не бывает завоевано окончательно. С каждым произведением имя писателя разыгрывается попеременно с самыми недостойными. Каждое новое произведение — это почти дебют. Вот почему в литературе нельзя сделать карьеру».

Главное тут слово «дебют». Поэт всегда дебютант. Будь ты трижды мастером, ты — начинающий. И не верь критикам, утверждающим в газетах, что «если ты начал, ты уже не начинающий»...

Перед нами три цикла стихов трех молодых поэтов. У каждого из них за плечами первая книга. Не в количественном, а в качественном отношении, потому что у первых двух вышло уже две книги. Но в т о р а я, настоящая книга у всех трех — впереди. Публикуемые циклы — подступы к этой в т о р о й книге. И на этих подступах возникают для поэта новые трудности, новые проблемы, о которых стоило бы поговорить.

У Натальи Бусыгиной, молодой поэтессы из Куйбышева, в 1981 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга «Глоток солнца». В этой книге много стихов о любви. Стихи хорошие, живые, с настроением,

с метафорами типа «золотой дождь стрекоз», с запоминающимися эпитетами. Но и только. Стихотворная волна проходит сквозь сознание, почти не задевая его, не затрагивая в нем потаенных глубин. Приятное ощущение, но нет катарсиса. Есть движение, но нет взрыва.

Происходит это оттого, что перед читателем обычная ситуация. Он уже в стихах других поэтесс встречал нечто подобное: «Появляешься как сновиденье, поднимаешь меня на руках, словно видишь во мне воплощение всех цветов на ее берегах».

Молодой поэтессе не удалось свою первую любовь возвысить до поэтического открытия. Мне могут возразить: а многим ли это удается? Отвечу: немногим. На памяти — два-три примера, не больше. И то из классики: Ахматова, Цветаева... Но разве это что-либо значит?

Одной из причин неудачи, постигшей способную поэтессу Наталью Бусыгину, является, на мой взгляд, неумение реализовать в стихах свою личность. Как ни парадоксально, но стихи от первого лица, наполненные, казалось бы, вполне жизненными реалиями (вспомним, как поэтесса идет через Волгу в больницу к любимому), не создают в воображении читателя запоминающийся поэтический образ автора. Почему? Потому что реалии эти — случайные, необязательные, не заключающие в себе подспудного смысла, не служащие сверхзадаче поэта. Все эти «золотые соломинки», впутавшиеся в волосы любимого, все эти «косы ниже пояса, сводившие ровесников с ума», и т. д. на поверку оказываются тоже слишком общими, традиционными, а нередко даже банальными, давно утомившими внимание читателя.

Настоящая поэтическая реалья — это не первая попавшаяся под руку жизненная деталь, это такая счастливо выхваченная поэтом из жизни частн о с т ь, в которой, как небо в капле воды, просвечивает в с е о б щ н о с т ь.

Когда мы читаем Ахматову:

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру»,—

мы в этой частности ощущаем многое: и характеры двух расстающихся навсегда людей, и их темпераменты, и атмосферу, в которой все это происходит, и трагический накал расставания, и даже что-то неуловимое, за которым чувствуется в р е м я. Да, да, именно время, и не вообще, а конкретное, грозное, накануне великих потрясений века.

Это чудо восприятия происходит оттого, что на всем этом лежит отпечаток личности поэта, и еще потому, что поэтические реалии, заключенные в стихах, не просто реалии, а как бы срезы судьбы и времени. Они кровоточат и поэтому входят в нашу память навсегда.

Разве не чувствуется п о э т и в р е м я в таких, казалось бы, камерных стихах: «Настоящую нежность не спутаешь ни с чем, и она тиха. Ты напрасно бережно кутаешь мне плечи и грудь в меха» (1913), «Двадцать первое. Ночь. Понедельник. Очертанья столицы во мгле. Сочинил же

какой-то бездельник, что бывает любовь на земле» (1917), «Ты всегда таинственный и новый. Я тебе послушней с каждым днем, но любовь моя, о друг суровый, испытание железом и огнем» (1917).

Разве это стихи не о времени, когда железом и огнем испытывалась не только судьба страны, но и судьба человеческой любви?

Таким образом, поиски себя в поэзии — это не столько поиски своей манеры, сколько поиски той грани, на которой поэт самоопределяется в своем отношении к своему времени. В этом смысл хрестоматийного: «лица необщим выраженьем».

В дыхании книги «Глоток солнца» чувствуется эта потребность поэта в самоопределении:

Вот почему среди непостоянства,
Которым одаряет нас судьба,
Мне нужно ощущение пространства,
А значит — ощущение себя.

В цикле новых стихов, предлагаемых читателям альманаха «Поэзия», Наталья Бусыгина не повторяет себя, не топчется на месте, а делает решительный шаг в сторону большой поэзии.

Декларации ее облекаются поэтической плотью и своим торжественно-щемящим тоном задевают за живое. Прочтите стихи: «Во все концы кричит сегодня вьюга», «Бесконечным пространствам доверены», «Течет широкой синью поднебесье», «Извиняющийся вид», «Высокие слова», «Всем дыханьем требуя бессмертья» — и вы почувствуете пульс времени и живое ранимое сердце поэта. Даже прощаешь некоторую холодноватость этих стихов за то, что в них заключена правда жизни:

Меня не оставляет вдохновенье,
Наверное, еще и потому,
Что даже ветерка прикосновенье
В краю родном за милость я приму.
И самой неприметной птице рада,
И русский лес у сердца шелестит.
Вокруг меня стоит большая правда,
Большая мудрость, как звезда, горит.

Вот какой неожиданной стороной иногда оборачивается в поэзии поиск своего голоса. Не в интимнейших стихах о любви, переполненных житейскими деталями, а в стихах программных, ораторских, декларативных в хорошем понимании этого слова поэт находит себя.

И — закон творчества — стих становится объемней, многозначней, глубже, мастерство — строже и раскованней. Здесь уже нет вялых строк и небрежных рифм типа «ладонь — поездов». Каждая строка дышит естественностью и стоит на своем месте.

Пусть автор поймет меня правильно. Я не хочу сказать, что его обречения лежат лишь на этом пути. Не сомневаюсь, что завтра поэт откроет

для себя новые источники вдохновения и напишет, скажем, прекрасные стихи о любви, но уже на том уровне, которого он достиг сегодняшними стихами.

Перед нами второй цикл стихов. Их автор — Евгений Чепурных — молодой поэт, тоже из Куйбышева. О его молодости и талантливости говорят такие стихи, как «Старый аист вернулся пустой...», «Головушка глупая тяжела...», «Ютимся в очевидной тесноте...», «Шорох веток, темнота...», «Колыбельная», «Ни огня во мраке длинном...», «Грешно предствленью дивиться...» (книга «Свет из окна», вышедшая в Куйбышеве в 1982 году). Это сильные, оригинальные стихи, по которым можно почувствовать поэта.

Но, к сожалению, эти стихи тонут в массе вещей вялых, описательных, незрелых, в которых витает дух слабый, инфантильный, больше стремящийся к парадоксам, чем к истине.

В книге почти нет умозрительно построенных вещей. Ведь все-таки автор — поэт, и он понимает, что в поэзии мысль рождается в процессе писания, а не заранее в голове автора.

Но что такое мысль в стихах? Вопрос не такой уж простой, как кажется на первый взгляд. Первое условие мысли в стихах: эта мысль должна быть мыслью поэтической. Иногда она может принять форму афоризма, но только в том случае она останется поэтической, если этот афоризм будет естественно вытекать из предшествующего содержания, а не повисать в воздухе, и если содержание будет отбрасывать свой особый свет на этот заключающий стихи афоризм. Но часто бывает, что содержание само по себе, а афоризм сам по себе, как бы архитектурное излишество. Такие стихи любят массовый читатель, но, кроме голых афоризмов, он ничего не извлекает из прочитанного. Такого читателя можно понять: ведь афоризм легко запомнить, при случае процитировать, пересказать, а истинное содержание поэзии не перескажешь. Читатель хватается за афоризм как за соломинку. А хвататься-то как раз и не надо. Скажу более: поэтическая мысль настолько сложна и объемна, что она не может уместиться в афоризме. Чистый афоризм — это скорее жанр философский (Ларошфуко, Паскаль, Лабрюйер), чем поэтический. Афоризм — это еще не поэзия. Если бы в поэзии все зависело от мысли, тогда бы все великие мыслители были бы великими поэтами. Но в истории поэзии мы этого не наблюдаем.

Конечно, в поэзии может функционировать и голая, обособленная в виде афоризма мысль. Но она имеет право на существование только тогда, когда она оригинальная. Таковы некоторые мысли Боратынского. Например: «Предрассудок! он обломок давней правды». Но в большинстве стихотворений того же Боратынского мысль живет не в форме афоризма, а является созидающим началом, инструментом поэтического анализа, скажем, анализа диалектики человеческого чувства в элегиях, в чем Боратынский, несомненно, явился новатором.

У нас сейчас стали говорить: поэзия мысли. Как будто есть поэзия без мысли. Я бы поставил вопрос иначе. Есть прекрасные стихи, в которых и мысли-то особой вроде нет (ну какая особая мысль в стихах Фета:

«Друг мой, друг далекий, вспомни обо мне!»), а стихи волнуют. И есть стихи с мыслями порой эпохальными, но никого не волнующие. Даже в бездарных стихах (не-стихах!) попадают иной раз любопытные мысли.

Из этого я делаю такой вывод: может быть, в поэзии правильнее говорить не о мысли, а о с м ы с л е. Есть ли поэтический смысл в стихах? — вот что важно определить прежде всего, а не отвлекенную умозрительную мысль, даже если она вырядилась в эффектные одежды афоризма.

Конечно, если стихи избилуют отвлеченными, или незрелыми, или натянутыми, или оригинальными, но не развитыми мыслями, или просто полумыслями, ни о каком с м ы с л е этих стихов не может быть речи. Я уж не говорю о банальных мыслях или банальных смыслах.

У Евгения Чепурных встречаются в стихах оригинальные, но не развитые мысли. Вот, например, в стихотворении «Сдвигайте, ровесники, кружки...»:

Мы молоды только частично
И этим природы слабей.

Сама по себе (не как афоризм) мысль интересная, я бы сказал, даже глубокая. Но таковая она только в потенции, а не в данном контексте, который в общем-то ее не подкрепляет, а, наоборот, обедняет и даже дискредитирует. Приведем все, что предшествует этой мысли:

Сдвигайте, ровесники, кружки
В предчувствии ветра в судьбе (?).
Грядущих деревьев макушки
В подошвы скребут при ходьбе.
Поземка души не остудит.
Но чуется, словно родник,
Сквозь слой (?) наших дружеских судеб
Дыхание судеб иных.
А чтобы не прожили мимо,
Ускорим в сердцах сгоряча (?)
Строительство нового мира
Хотя бы на полкирпича.
И все же не очень привычно
И грустно, что в жизни своей...

Далее следует заинтересовавшая нас мысль в виде не очень удачного афоризма. Ясно, что все предыдущее слабее, бесцветнее и необязательнее этой мысли, а поэтому как бы отпадает, не коснувшись нашего сознания, на запав в нашу душу. Остается один голый афоризм без стихотворения. Разрушается целое. Поэзия ли это? Гармония? Конечно, нет!

У поэта оригинальные или претендующие на оригинальность мысли часто настолько повисают в воздухе, что начинают смахивать на пародию: «Зашейте рот моей душе, а я ей больше не хозяин», «Я, может быть, женюсь на этой речке, она и глубока и молода», «И женщина, как русская матрешка, смущенно сбережет в себе дитя», «Но для каждого рос нео-

жиданный заяц, что однажды сбегал и состаривал их», «И трезво мыслить только тот не робок, кто хлещет исключительно кефир», «И девам головы кружить, не обижая их любовью», «Почудится вдруг не со зла: меня, мученьем грех счищая, не мать родная родила, а чья-то женщина чужая», «Любимых не целуют по ночам, хоть мир увязнул в заблужденье этом» и т. д.

Я не хочу сказать, что все эти мысли не годятся для поэзии. Для поэзии все годится! Я только хочу сказать, что они все не вытекают из содержания, не составляют с контекстом единого целого и кажутся странными и наивными, потому-то пьются, нацепив на себя нелепые, смешные одежды афоризма.

В новых стихах, которые Евгений Чепурных предложил альманаху «Поэзия», этих странностей нет. Стихи его стали более цельными и более... гладкими.

Не успокоился ли поэт? Все-таки лучшими его стихами остаются пока что те, о которых я говорил вначале...

И наконец, третий цикл стихов, принадлежащий молодой поэтессе из Москвы Валентине Мальми. К сегодняшним своим стихам Валентина Мальми пришла издадала. Ее первая и пока единственная книга «Отчизна звездных кораблей» вышла ровно десять лет назад. Эта первая книга не была взрывом. В ней поэтесса лишь нащупывала себя. «Пугачев», «Не угасайте, русские леса...», «Вознесена над Родиной бескрайней...», «За речной излучкой...», «Меня ничто уже не радует...», «Я в морозную ночь выхожу...», «С вышины, где береза продрогла...», «Как аукнется — так и откликнется...», «Осень вновь завела своё...», «А за полем, за лугом, за речкой...», «Я люблю этот ковкий мороз...», «Отпылало золото осин...», «Наказанье мое...» — в этих неброских, может быть, несколько навеянных рубцовской музой стихах поэтесса начинала обретать себя. Медленно, но верно она шла к своей манере, к своей интонации, постепенно избавляясь от банальности, от излишней категоричности, от чужих влияний. Легкая судьба в поэзии страшила ее, а трудности на пути вселяли мужество:

Когда не поверят от сердца идущему слову
и не отзовутся осеннему крику души
и кто-нибудь скажет: «Он дышит в затылок Рубцову!» —
стыдась, к эпигонам себя причислять не спеши...
На прошлой крови восходило любое светило,
мы — смертные дети его незакатных лучей...
А в общем-то каждый кому-нибудь дышит в затылок —
Державину было, я думаю, всех горячий.

Мальми пишет мало, не спешит с изданием второй книги, но с каждым годом стихи ее становятся значительней и выстраданней. В антологии «Молодые голоса» («Художественная литература», 1981 год) она опубликовала прекрасный цикл стихов, мимо которого прошли почему-то многие критики — читатели этой антологии.

В 1982 году в «Дне поэзии» напечатаны два ее стихотворения, которые нашим критикам можно даже цитировать при разговорах о народности и гражданственности в поэзии.

Как просто и поэтично сказано: «В народную речь не влюбляться, а просто не ведать иной». Или — о матери, простой русской женщине:

Иль, может, сон ее глубок
и до утра спокойно длится?
Ей, верно, не приснится Блок,
но ведь хоть кто-нибудь приснится!
Под неумолчный шум ветвей
и ветра шум, несущий стаю...
Что снится матери моей —
не знаю. Вряд ли отгадаю.

Вот это смирение художника перед великими таинствами жизни — пожалуй, самое ценное в поэзии Мальми. Никакого крика, никакой излишней самоуверенности, никаких аффектов, свойственных иным нашим молодым. Мужество и смирение! Мужество по отношению к жизни и смирение перед своей душой. С такими качествами нелегко жить в поэзии. Нелегко писать. Потому-то и понятно удивление поэтессы в стихотворении «Подсчитавший губительно строки»:

Ты зачем разгоралась, лучина,
в золотой и серебряный век,
если пишет стихи, как машина,
вообще-то живой человек?

Читая сегодняшние стихи Валентины Мальми, мне почему-то не хочется говорить о некоторых погрешностях той или иной строки (они есть и у нее), о недовоплощенности замысла в некоторых стихах (раньше Мальми была более определена и категорична, теперь ее стих стал спонтаннее и таинственней, а потому при большей содержательности подвергнут большим опасностям и срывам при интуитивном постижении мира), а хочется говорить о судьбе поэта.

Некоторых молодых поэтов ранняя профессионализация пугает прежде всего не тем, что ослабляет связи с жизнью, а тем, что грозит поэту... лишением судьбы. Клянут себя и своих товарищей за отсутствие судьбы. Изыскивают способы обретения этой судьбы.

Но что такое судьба? Судьбы бывают разные. Бывают героические судьбы. И бывают поэтические. Иногда они совпадают (Байрон, Петефи, Ботев). Но чаще на долю великих поэтов выпадают лишь великие поэтические судьбы.

Судьба поэта — это дар божий. Умозрительно сконструировать и при помощи воли воплотить в жизнь ее нельзя. Можно стать рано профессионалом и не утратить судьбы (Некрасов). Можно долгие годы прожить в одном городе, ограничивая себя лишь одинокими прогулками по его пустынным улицам, и остаться со своей великой судьбой (Блок). Мож-

но уйти в народ, пахать, сеять, жать, ковать, тачать — и не обрести судьбы.

Судьба поэта — это пророческая устремленность в будущее, синхронно запечатленная в его стихах и поступках.

Если гул истории не услышишь в своем сердце, то не услышишь его нигде.

С судьбой надо родиться.

Итак, три призвания, три ступени, три творческие проблемы. А вершина по-прежнему недостижима. Она будет недостижима и после второй книги. И после десятой.

И чем истиннее поэт, тем больше его сомнение в ее достижимости. И тем сильнее его вера в свое призвание.

ВАЛЕНТИНА МАЛЬМИ

Родилась в городе Сухой Лог на Урале. Работала на заводах Москвы, Урала, в совхозе. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Автор книг стихов «Отчизна звездных кораблей».

* * *

Как в детстве, дух непокупного хлеба
тебя разбудит — счастливо вполне...
Печной дымок не омрачает неба,
согласно растворюсь в голубизне.

Вот — миновали тяжбы, распри, бури,
настало время заново прочесть
стихи, где есть сияние лазури,
забыв про те, в которых «что-то

есть...».

* * *

Ни единой тучки
На лазурном небе,
Ни единой мысли
О насущном хлебе!

Яков Полонский

Случалось когда через поле
в хорошую ночь проезжать —
кому не мечталось о воле?
А это — не сеять и жать.

И вряд ли в восторге растущем,
во власти огня своего
ты думал о хлебе насущном,
о твердой цене на него.

Всего лишь глядеть, как волною,
бросая в невольную дрожь,
играет под ясной луною,
расходится светлая рожь...

Смотрел беспечально и долго,
не ведая, что впереди,
и мягко шуршала двуколка,
и сердце сжималось в груди...

* * *

1

Как пришли его дружки —
перед самою зарницей,
в пальцах
смяли козырьки,
поклонилась молодежи —
бабке будущей моей...
— Не воротишь
с того света,
хоть жалея,
хоть не жалея...
Так-то, свет-Елизавета.
Смерть гуляла
по пятам,
от нее —
щеленки нету...
Спит в Карпатах
твой Адам,
только пулями отпетый...
Не спросила
впопыхах,
есть ли крест хоть
в изголовье.
И остались на руках

Николай,
Мария,
Софья.

2

Все, кто погиб и очнулся во мгле, —
мне отзовитесь...
Что я теперь без тебя на земле,
сокол мой,
витазь?
Добрая весточка, мне поутру
сердце порадуя!
Что я в работе и что я в пиру,
бражник,
оратай?
Рушится терем. Чернеет вода.
Горе — что море.
Не поседеет твоя борода
в вечном дозоре!
Камни в столице и травка в селе
кровушкой сыты.
Что я теперь без тебя на земле,
в землю зарытый?

* * *

Туча примчится — сторонка моя омрачится.
Ветер промчится — и все-то на миг затаится.

То-то с утра надрываются черные птицы —
что-то случится, ой, что-то сегодня случится!

Вы не успели убрать с огорода картошку,
вы не успели доестъ за обедом крошку,

только лишь дед уцепил деревянную ложку —
глянь, это град-виноград застучал по окошку!

Но, говорю, никогда ничего не случится!
Туча промчится: любая каморка — светлица!

Солнышко в небе — и солнышко на половицах.
Солнышко в небе — и нету тревоги на лицах!

Для слез опять нашлась причина —
неумолимо свет потух,
отец и мать уходят чинно
на фильм «Свинарка и пастух».

А мы с братишкой из окна
глядим, как звездочки сверкают,
как светит ясная луна,
как двор они пересекают...

За что мне их не понимать?
Закрыв лицо, вздохнув свободней,

* * *

Зачем так скоро день погас
и поздняя метель
ревет как зверь
в полночный час
и душу рвет с петель?

Ведь есть у каждого из нас
за тридевять земель
любимый холм,
заветный сказ,
родная колыбель!

Но что отдельные слова,
когда бессмертна речь?
Живи, как встарь,
готовь дрова,
топи наутро печь.

Смирись, мой друг,
с отлетом стай,
шепни: «Счастливым путь!..»,

* * *

Подсчитавший губительно строки,
променявший судьбу на тщету,
это он мне толкует о Блоке —
про его нищету, нищету!

я вижу, как смеется мать,—
и рада за нее сегодня.

Я вижу, вижу, наконец,
как в том послевоенном гуле
к ней обернулся наш отец,—
и мы с братишкой уснули.

На лавке, прямо у окна,
под шорох тьмы и голос ветра,
где — звезды, слезы, ночь, луна,
и — ничего от стиля ретро!

да книги старые листай,
да новых не забудь.

И может быть,
за бедный всхлип,
задавленный тайком,
тебе приснится
мерный скрип
под низким потолком.

Ты глянешь, сердце отворя —
за тридевять земель:
а это мамушка твоя
качает колыбель..,

Так отчего же день погас
и поздняя метель
ревет как зверь
в полночный час
и душу рвет с петель?

На диване с обшарпанной спинкой,
в полумраке угла своего,
целый день он сидит за машинкой —
и ничто не поднимет его.

Ты зачем разгоралась, лучина,
в золотой и серебряный век,
если пишет стихи, как машина,
вообще-то живой человек?

Под задумчивый шорох акаций,
затаенные всплески реки...
Я желаю ему догадаться,
что пора бы писать от руки.

НАТАЛЬЯ БУСЫГИНА

Родилась в 1955 году в Куйбышеве. Работала корреспондентом многотиражной газеты, в библиотеке. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького.

Печаталась в журналах «Москва», «Волга», в альманахах «Поэзия», «Истоки», в сборнике «Вдохновение». Автор книги стихов «Глоток солнца».

МНОГОЦВЕТЬЕ

Мне весело, рассеивая брызги,
Ведром дробить колодезную тишь.
Как будто мед с краев широкой миски,
Стекает солнце с пожелтевших крыш.

Июль плодам, деревьям, людям
роздан,
Он колосится, в птичьих гнездах спит,
Так загустел и перегрелся воздух,
Что от дыханья, кажется, шипит.

Увенчана природа долголетьем,
Но я о долголетье не молю,
Земля моя богата многоцветьем,
И многоцветной я ее люблю.

И падают на землю дятла стучи,
Просвечен лес на дальнем берегу,
Просвечены до дрожи наши руки,
По локоть погруженные в реку.

* * *

Всем дыханьем требуя бессмертья,
Мир распахнут, солнцем залитой,
На краю двадцатого столетья
Я стою в косыночке простой.

Мне отмерен путь за облаками,
Лишь ступлю на звездное крыльцо...
Дайте землю обхватить руками
И мгновенью заглянуть в лицо.

Спелая пшеница колосится,
Тихо льется шум ее густой,
И душа твоя в пространствах длится,
Замирая перед красотой.

Знаю, будет что-то недопето,
Уместить бы память в двух строках...
И на мне играют пятна света,
Разводя веснушки на щеках.

Кроме всех даров, бесценных с детства,
В сочном разнотравии Руси
Для меня сияют, как наследство,
Золотые капельки росы.

Не нужны изысканные вещи,
Я оденусь в чистый цвет небес
И в листву, покуда мне завещан
Празднично-великий русский лес.

И в тополиный пух любовь закатать,
И с песнею народной вровень встать.

Что под ее —
с коньком

летающим —

крышей

Не потому ль под тучею нависшей
Стоит так крепко русская изба,

Сложилась песни трудная судьба.

ЕВГЕНИЙ ЧЕПУРНЫХ

Родился в 1954 году в Чапаевске Куйбышевской области. Служил в армии. Работал слесарем, грузчиком, составителем поездов.

Автор книги стихов «Свет из окна». Стихи печатались в журнале «Юность», в альманахе «Поэзия».

Участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей.

* * *

Пока меж нами длилась драма,
Там, за окном, все эти дни
Шел снег. Устало и упрямо.
Как будто бы солдат с войны.

Снегирь ел крохи из кормушки,
Печной дымок взвивался ввысь.

Пора, пора, друзья-подружки,
Смотреть внимательно на жизнь.

И украшать полезным делом
Свой длинный иль короткий век.
И землю чувствовать всем телом,
Как этот, к ней летящий снег.

* * *

Нет о любви и речи,
Но ты честна со мной.
Спроси, мол, что полегче,
Хотя бы снег зимой.

Средь птиц и паутинок
Ты рассмеялась вдруг.
И тысяча снежинок
Рассыпалась вокруг.

* * *

Сперва покружись как листок
За окнами отчего дома.
Средь снега, и солнца, и грома,
А после взойди на порог.

Всю жизнь на ветру, на ветру... —
И к печке протянешь ладони —
Не бойтесь, я нынче на склоне,
Вот скоро спущусь и умру.

Вздохнет за спиною село,
На сплетню успев опереться.
Скажи: «Повидал я всего,
Но некогда было согреться.

И сядут поодаль, любя,
Две жизни, для жизни негодных,
Две жизни, по виду бесплодных,
Но все ж породивших тебя.

* * *

Со своей печалью безымянною,
Станет лишь на улице темно,
Прилетает птица иностранная
Под мое окно.

Я ей улыбаюсь и киваю.
И, ночной озон вдыхая в грудь,
Хоть не очень птицу понимаю,
Все же понимаю как-нибудь.

Говорю ей: «Вот и мне не спится.
Время нам с тобой потолковать.

Хоть и иностранная ты птица,
А по-русски можешь тосковать.

Ничего! Назавтра, в час привычный,
Нагостившись всласть в моем краю,
Улетишь в свой край иноязычный,
Заведешь крикливую семью.

Подрастут птенцы пушистой гроздью
И, проклюнув неба полотно,
Тоже прилетят к России в гости,
Да не под мое уже окно».

* * *

Целовался и пел в кратковременный дождь проливной
В полинявшей беседке, пустому вагону подобной.
И жестокую женщину сделал своею женой.
Потому что ни разу не видел женщины доброй.

И сижу у окна.
И назло ей курю и сорю.
Вспоминаю друзей
И мгновенно же их забываю.
И, как в поле моряк,
В неподвижное небо смотрю.
Словно я от него
Далеко и навек уплываю.

* * *

Только тем я и буду утешен,
Что прошли, одаря сполна,
По душе моей несколько женщин.
Но осталась со мною одна.

Да, одна.
Посажу ее в кресло.
И уткнусь, опустившись с небес,
Лбом в коленки.
Пока не исчезла.
И покамест я сам не исчез...

* * *

Проводи меня до двери,
До трамвайного пути.
Я тебя ни в коей мере

Не держу,
Но проводи.

Провожай до окон милых,
Попроси светить звезду.
Провожай хоть до могилы.

Дальше я один пойду.

* * *

Что, друг мой, седой, бестолковый?
Планету метет к январю.
Смотрел ли ты в ящик почтовый?
— Я больше в него не смотрю.

Есть близкое в листьях хрустящих
С полночным морозом родство.
Чем полон почтовый твой ящик?
— Давно не смотрю я в него.

Предельного возраста устье,
Спасибо за ветхость запруд!
И в ящичке тихо
И пусто.
А письма идут и идут.

наши публикации

* * *

В известной в свое время повести «Не переводя дыхания», написанной Ильей Эренбургом в 1934—1935 годах по материалам поездки на Север, нет никаких стихов. Эренбург дал этой повести название, возникшее у него еще в 1923 году для книги стихотворений, которая так и не была издана...

Летом 1923 года, на Северном море, возле датских берегов, Эренбург начал писать стихи, составившие книгу «Не переводя дыхания». «Я изредка пишу стихи,— сообщал он Шкапской в июле,— и, несмотря на запреты врачей, курю трубку... Собираюсь писать сентиментальный роман. Книга стихов будет называться «Не переводя дыхания» (это без иронии)».

Из сохранившихся писем Эренбурга к М. Шкапской и Е. Полонской видно, что сборник стихов «Не переводя дыхания» был готов в сентябре 1923 года. Он составил из двух разделов. Первый, названный, как и весь сборник,— «Не переводя дыхания», содержал 20 новых стихотворений, второй — 20 стихотворений из книги «Звериное тепло».

Сборник стихов «Не переводя дыхания» создавался в то время, когда Эренбург находился под безусловным обаянием поэзии и личности Б. Л. Пастернака... Посылая новые стихи Полонской, Эренбург просил ее «раньше всего написать мне о них чистосердечно, не смущаясь словами: подражание, пастерначество и пр.».

Сегодня, однако, мы можем увидеть в стихах Эренбурга 1923 года не только заемные элементы формы, но и то, что характерно именно для его поэзии.

В начале 20-х годов книги многих советских авторов выходили в Берлине; в отличие от эмигрантских изданий на них рядом с издательской маркой стоял обычно гриф «Москва — Берлин». В 1923 году финансовое положение берлинских издательств, печатавших стихи, пошатнулось, поэтому рукопись сборника «Не переводя дыхания» Эренбург послал в Петроград своему близкому другу поэтессе Елизавете Полонской, которая передала ее в ГИЗ. Сохранившаяся в архиве Ленгиза переписка с Эренбургом показывает все перипетии дела — по разным причинам издание сборника многократно откладывалось; в итоге книга так и не вышла, а рукопись ее была утеряна.

После неудачи с изданием сборника «Не переводя дыхания» поэт не предпринимал попытки напечатать эти стихи. Более того, после 1923 года он вообще 15 лет не писал стихов; только на испанской войне Эренбург почувствовал, что одни лишь стихи и могут выразить все пережитое там, но это были уже стихи качественно иного класса. При жизни Эренбурга из книги «Не переводя дыхания» было напечатано всего два стихотворения. Потом в личном архиве писателя нашлось еще два стиха, вошедшие в том «Библиотеки поэта». Остальные 16 стихотворений, казалось, исчезли бесследно.

Недавно в архиве Е. Г. Полонской нам удалось обнаружить четыре неизвестных стихотворения из книги «Не переводя дыхания». Первое из них приводится в письме Эренбурга 9 июня 1923 года (судя по письму, это первое стихотворение книги), второе сохранилось в виде машинописной копии, снятой Полонской, третье и четвертое — машинопись, правленная Эренбургом.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

1

Страшный ящер и сивиллы в духе —
Рот вишневый. Солнце — о тебе.
Робко бьется зайчик огнеухий.
Только б руки не разжать в мольбе.

Ах, сусальная, пришла не рано.
И соседям может быть смешно,
Что с такой тревогой глядя на ночь
Застилаю я мое окно.

Как же выдать ту, что я закутал —
Эту руку — если в ней одной
Мечется и льнет до муки лютой
Средиземный стопудовый зной?

Смерть-шатунья ходит, смотрит в оба.
Даже скважина страшна и та.
Будь он проклят, ледовитый кобальт,
Северная злая чистота!

Ведь любить — до выкрика, до хруста
Смоляных, прожженных насквозь рук,
До того, чтоб — весело и пусто,
До того, что «лягу и умру».

Здесь слова как масляная сдоба,
Леденцами тает легкий вздох.
Где ж мне вызволить такую злобу,
Чтоб к гортани мой язык присох.

Чтоб горячкой золота и Рима
Захворав и впопыхах дыша,
Возвеличить твой жестокий климат,
Страстью изнуренная душа?

2

Жалко в жизни мне еще дождя.
Тихо он на цыпочках разгуливал.
Косенький, зеленый, в гости заходя,
Заставал враспloch, гонял по улицам.
Тротуары полотером тер,
Прыскал, фыркал, наметавши, ласковый,
В комнату черемуховый вздор,
Он глаза мечтою ополаскивал.
Из трамвая делал птичий гам.
Обдавал шкапы листом смородины.
Был такой, чтоб целоваться нам,
Чтобы никогда не распогодилось.
Вел чечеткой свой любовный счет.
Заставлял, среди книжек, шпилек, наволока,
Таволгою отдавать плечо
И зрачкам захлебываться паводком.
Падал, прядал, прятался от нас,
Чтоб с сестрой его, как он, обманчивой,
Выбежавшей из счастливых глаз,
Я б и в ясную погоду нянчился.

3

Там телеграф и рахитик подсолнечник,
Флюс у дежурного, в одури, в мякоти,
Храп аппарата, собака, до полночи
Можно заполнить листок и расплакаться.
Слезы вращут, станут памятью, матрицей,
Проволок током, звонком неожиданным.
Эту тоску с перепутанным адресом
Ты не узнаешь, ты примешь за выдумку.
Ты же была на чаек или краденной.
Вместо тебя пересадки, попутчики.
Муха брюзжит над оплывшей говядиной
Все о таком же мушином, умученном.
Руки отучатся миловать милую,
Станут дорожными верстами, веслами.
Сердце хотело еще одну вылазку,
Ты мне ответила: надо быть взрослыми!
Что же прибавить мне к дребезгу чайника,
К мухе и к флюсу, чтоб ты не оставила,

Чтоб ты узнала походку отчаяния
В каждом нажиге ленивого клавиша?
Если ж не станет дыханья от нежности,
В зале, махоркой и кашлем замаенном,
Трубка, упавшая на пол, по-прежнему
Будет дымить еще после хозяина.
Нудный дежурный все жалобы выдавит,
Капнув на зуб, чтобы ты отозвалась,
Чтобы тебя, что далеко, за тридевять,
Как-нибудь вызволить, вызвать, разжалобить.

4

Хотеть его. Чем реже крови дробь,
Чем гуще муть в пивном стеклянном глазе,
Чем сердце чаще, клячей меж оглобль,
Захлестанное, грохается наземь,
В слезах и чванясь, будто глупый бурш,
Когда летит на кегельбане сверстник,
Чем мне ясней, что из таких цезур
Одна окажется моей же смертью,—
Тем все сильней хотеть его. Любовь —
Она наутро снимется как табор.
Твоя нигде не вытравлена бровь,
И этот поцелуй никем еще не набран.
Так даром жизнь и пропит целый свет,
Как в подворотне штоф, взасос и кончен.
Не мне достался этот теплый бред
Средь розовых грудей земных поденщиц.
Я ночью вскакиваю: нет, не мой!
Семь этажей. Чужое счастье плачет.
Он где-то есть, и ждут его домой,
Он шавкой под ноги, он в горе — мячик.
В игрушечьем миру, средь снежных баб,
Он в плюше хроменького медвежонка.
Он мог бы быть и прятаться за шкаф
И плакать оттого, что там потемки.
Он мог бы в этих номерах кричать,
Средь багажа, звонков, чаев, приезжих,
И каждой родинкой напоминать
О том, как я тебя любил и нежил.

Публикация и предисловие Б. Фрезинского

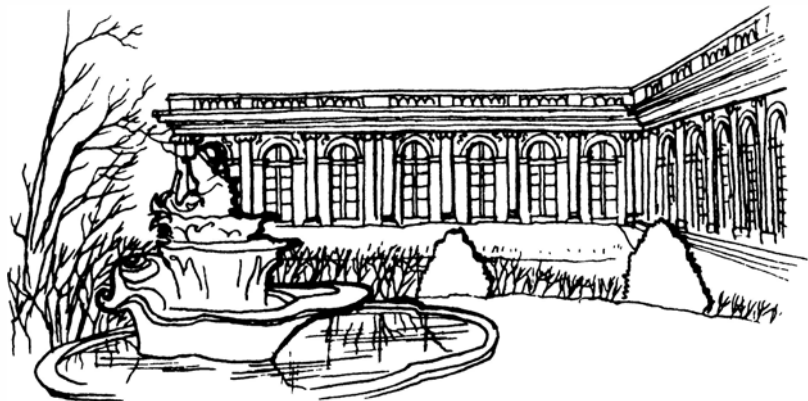


Рис. Мишеля де Сервиля

ИРИНА ШЕВЕЛОВА

«И В ОТЧЕСТВО — ОТЕЧЕСТВО ДАЛА...»

Незатихающая боль утраты в строчках Виктора Дронникова об отце:

Кто мне подробные черточки выдаст:
Как он ходил, говорил?
Вот он на фото: рубашка навывпуск,
А папиросы курил?

Звучит по-детски, словно строчки сложены ребенком, меньше всего думающим о том, что такое поэзия. Зато знающим, зачем она: выговорить самое заветное. И автору нужно было значительно повзрослеть, чтобы вот так «беззащитно» раскрыться перед читателем. Кстати тут пришелся и старый, некрасовский, стихотворный размер, сохранивший в нашей поэзии отзвук народной боли.

У Виктора Дронникова нет стихов о безотцовщине. Редко прорывающиеся мотивы сиротства предстают у него фольклорно окрашенными: «В низеньком домике сам себе снился... В золоте и серебре...» Личную

биографическую тему мощно и навсегда перекрыла тема общности своей с Родиной. Обостренным чувством поэт уловил, может быть, самое неуловимое состояние перехода от войны к миру, от беды к счастью,— пропустив это преображение через свою судьбу:

Я спал в зеленой колыбели
У птичьей песни на краю,
Когда железные метели
Закрыли Родину мою.

Образ зеленой колыбели — это образ и ребенка, и баюкающей его земли. Но над колыбелью склоняется «Мать. Мама. Девочка седая...». Детская душа оказывается средоточием людских тревог. И она же сама первая слышит: «Всем существом, зеленым горлом Ударил ранний соловей». Пробуждение земли — пробуждение художника:

Как чутко древний свет ромашек
Овеял Родину мою.

Светом жизни овеяны и далее прожитые годы, и люди, встреченные поэтом. Таков старик с загадочным прозвищем Соловей, одиноко живущий в лесной глуши:

«Эй, хозяин, откликнись!» И вышел хозяин,
Освещенный березами и сединой.
Ничего не спросил, ничего не ответил,
Только свет устоявшийся расплескал
Да небритой щекою потерся о ветер,
Будто сам приласкался и меня приласкал.

Иным, но тоже ярким светом душевности освещен тот дед, что вместо парней взялся за гармошку — и обиделся на высмеивающих его девушек: ведь для них он приваживает гармошкой парней из далеких мест... Белым снегопадом окружен образ покойного друга, владевшего талантом совестливости и доброй участливости. Но ярче других сияет для поэта образ матери — самой дорогой, верной, красивой, стойкой в беде. Она видится ему девушкой из народной песни, так он и запечатлел ее:

По топольей той метели
Шла как перышко — легка.
Старики вослед глядели:
— Пропадет без мужика.—
Капли мать не проливала,
Шла, как свечечка,

Ой как за день уставало
Гнуться плечико.
Позже всех огонь гасила,
На одной держался дом.
Горе ведрами носила,
Только счастье решетом.

Но не в горе, а в красоте русской женщины поэт хочет увековечить память о матери: «Расплетала густые свои, расплетала — Гребень лунно мерцал в золотой повители. А когда расплетала — и в доме светало.

И бессонные бабочки в окна летели». И в этих, и во многих других строчках, вообще в своей лирике В. Дронников ставит и разрешает истинно художническую задачу — собрать, сконцентрировать свет, сгустить его до вещной осязаемости. Вот, например, как передан им свет любви, что жива и длится:

Деревья стояли во сне,
И листья не падать старались.

Порой одна-две строки вбирают у Дронникова суть и образ целого стихотворения. Часто они существуют вполне самостоятельно:

Я проснулся, а мир сотворен.

Или:

Все ближе к делам человека
Пугливой природы душа.

Или о старухе:

И у смерти на примете,
И у жизни на виду.

Мы можем додумать за автора, о чем каждое стихотворение, содержащее приведенные строчки. Но читая их целиком, приобщаемся к ясности авторского мироощущения. Афористичные строки лишь доводят рассказ о происходящем до полной ясности. А есть у В. Дронникова стихи, где полная ясность живевосприятия поэта афористично передана от первой до последней строки. И это стихи о Родине.

Солдатской колонны маршевый шаг —
И выдох и вдох один.
Но женщины скорбной прощальный взмах
Напомнил мне, чей я сын.

Забыл я, забыл я родимый дом,
Сирень у родных крылец.
Но марш военный напомнил о том,
Что был у меня отец.

Колонна прошла как взрывная волна,
Трубач полковой охрип.
Как будто прошла сквозь меня война
И все, кто на ней погиб.

Налицо живое, личностное прибавление в нашей поэзии к патриотическому чувству. Воспитанному в поэте с рождения, вошедшему в него с воздухом его малой родины — среднерусских краев. Природа в стихах

орловского поэта та же, что и в творчестве Толстого, Тургенева, Фета. Сын своей земли, он в силу своего рождения и наследник, хранитель классического русского пейзажа. С болью пишет В. Дронников об оскудении воспетых русскими гениями мест. С бережливостью старается он сохранить в слове сегодняшние и вечные черты русского пейзажа: «В последнем блеске солнца и тепла Собрать в ладонь тускнеющие капли, Как крошки с деревянного стола». Верным учеником русской литературы предстает он в своих многочисленных пейзажах:

Осеннее солнцестоянье,
Стеклянная сухость дубрав.
Встревоженный стрекот сороки,
Щеглиный залистый звон.
И словно костер, у дороги

Шиповника куст раскален.
Ярчайшая зелень озимых,
Листвы опадающей хруст.
О дней этих невыразимых
Звенящая радость и грусть.

* * *

В пору творческой немоты к живительным источникам своего края спешит припасть живущий в Карелии поэт Марат Тарасов. И не только к могучей природе, но и к порожденному ею искусству:

Где птицы песен в вышине,
Замолкнув, не поют
И в непривычной тишине
Иных напевов ждут.
И раздаются звуки рун...

Целительный союз древней природы и древнего искусства необходимо сберечь, и лучшее хранилище его — душа поэта: «А ну-ка, различи, Поет ли музыка в тебе Или в лесной ночи».

Сегодняшние будни для поэта — продолжение громокипящих, звенящих железом и песней сказаний. Природа породила, выделила из себя лучшее — мастеров, умельцев, героев. Чем укрупнила самое себя, свои масштабы. Вот восход солнца:

И стрелы кранов шар качали,
И сосны трогали ветвями,
И экскаваторы урчали,
И небо черпали ковшами.

Современная картина утреннего сотворения мира вызывает у автора привычную ассоциацию с руной о рождении железа. Главное и тогда и теперь — созидание. Автор поэтических книг о русских мореплавателях и землепроходцах, М. Тарасов живо откликается на стремительную индустриализацию родного пейзажа, однако не готовит однозначных ответов. Он сам ищет ответ — во встречах с Белым морем, Онегой и Ладогой, в шуме порогов, в разговоре с рекой. Но и впечатления его таят в себе

деяние. В небольшой лирической поэме «Разговор с рекой» поэт запечатлел, на мой взгляд, характерное для его поколения, да и вообще для сегодняшнего человека, отношение к природе. В частности и то, что

В мечтах, немного виноватых,
Не я по ней плыву к мыску,
А сам ее на перекатах,
Впрягаясь в лямку, волоку.

И, выпрямляясь облегченно
И каждой клеточкой дыша,
Она припустит, как девчонка,
Исчезнет в чаще камыша.

И нерестилище в затонах
Сам, для нее на все готов,
Освобождая от мореных,
На дне улегшихся стволов.

Бежит лугами все резвее,
В грядущее устремлена,
И протяженностью своею
Соединяет времена.

Тут сказывается и добрая воля человека, осознающего свое утвержденное могущество над природой, и ощущение того, что она — жива. Некий новый союз — договор с природой жителя нашей эпохи. Но не ушла в прошлое и схватка:

Средь волн набегающих пегих
Ты встанешь; невесть почему,
И мир остановится в беге,
Приблизясь к лицу твоему.

По-прежнему жива в человека отвага и жажда встать лицом к лицу с миром, испытать себя, раскрыть неведомые глубины жизни. Ведь

Еще распахиваем только
Мы двери в мир своим плечом
И, может быть, не знаем толка
По-настоящему ни в чем.

Если вспомнить, что именно потомком северного помора были некогда выдохнуты восторженные строки: «Открылась бездна, звезд полна...» — то понимаешь, что природа Севера донине — источник непосредственно поэтических мыслей о тайне жизни и Вселенной. Чему подтверждением служат скромные — но не робкие! — строки М. Тарасова.

* * *

Опытом своей жизни подтверждает и московский ныне поэт Валентин Кузнецов сложность пребывания в природе человека XX столетия. Биография лесоруба легла в основу биографии лирического героя В. Кузнецова. И вместе с ней в его судьбу вошла своя малая родина — Сибирь: вернее, он вошел в нее в рядах рати:

Вижу. Слышу. Идет лесорубов бригада.
На колючей заре ветер страшен на воле.
Но блестят топоры. Это ратники, что ли?

Приходилось быть не только ратником... В стихах В. Кузнецова собраны случаи и истории из быта лесорубов. Так, не может не запомниться история о том, как мужчины спинами своими подпирали бревенчатый мост, по которому шли машины. Суровый мужской разговор с тайгой ведет лирический герой на могиле своего бригадира:

Мы леса рубили — горы ахали!
Мы плоты гоняли — дай вам бог!

Вся лесная краса западала в сердце под гром работы, входила через мускулы, с ветрами, морозами. Такими вот грубыми кусками она и подается читателю в стихах. И наверное, нужно «перевалить» не через одно стихотворение, чтобы вместе с поэтом увидеть и узнать лес как живое явление, со своим норовом, возрастом, памятью:

Он крепок был в древесных латах,
Он не боялся топора.
Теперь он стар. Вся грудь в заплатах,
В наростах ветхая кора.

Любовь — спор, кто кого одолеет. Тот, кто одолел, может и пожалеть. Человек, не жалеющий сам себя, настороженно помнящий о добре:

Я несу два греха тяжчайших,
Пару дерзких своих кулаков.

И не только кулаки, но и оружие, которым убивают зверя, а «Он шлепал ласково губою, когда встречался с грибником».

Добро и зло, красота и ярость откладываются на сердце, как годовые кольца на дереве, отмечая и времена года, и пору любви, и пору разлуки... Из всего этого и складывается человек — активное начало жизни. «Знаешь ты, человек, свое дело, Как рубить, как медведя вспороть», и он же: «За мгновение отдал бы вечность — Той, любимой, единственной той...», «Но сигнал журавлиного горна, Кроме нас, не понять никому», и еще он знает: «Утешаться мечтами опасно: Дунул ветер — и не было их», «Человек мой, Кряжистая сила, Удивительно любит леса», «Он глядит на свободные руки И не знает, куда же их деть», «Одержимый работать и жить», он вдруг понимает — «Жизнь начинается с листа...» — в небольшой поэме «Годовые кольца» поэт рисует человека как бы со стороны, как явление, как феномен. И утверждает его право, его «вписываемость» в земную жизнь.

От этой загрубелой и нежной отстраненности не так уж и долгов переход к живому конкретному человеку. У В. Кузнецова есть превосходные зарисовки близких ему по духу поэтов. Так, даже не названного, узнаешь Павла Васильева. А вот человек «прямо с натуры» — Силыч:

— Силыч, а ты еще — во!
Можешь и в дело согдиться.
— Я-то! Да я ничего,
Только болит поясница.

Живая человеческая жизнь — вот что только и может раскрыть до дна душу житейски закаленного, «тертого», «грубого» героя В. Кузнецова. Только тогда проступают в ней глубины, вмещающие глубинный смысл простого житья-бытья. Одно из лучших, на мой взгляд, стихотворений В. Кузнецова — стихотворение о деревне «Ушел. Растаял свет в окне».

Деревня спит в кольце оград,
И снится ей, что в этом мире
Нет войн,
нет горя,
нет солдат.
Есть соль с картошкой в мундире...

Уже зарей занялся сад,
В загончике мычит теленок...
А тридцать лет тому назад
Прислали сорок похоронок.

И бабы падали, крича,
Заламывая к небу руки.
Ночами теплилась свеча —
Свеча печали, слез и муки...

В реке щетинится камыш.
Деревне сон хороший снится.
А с черепичных теплых крыш
Дымок Отечества струится.

* * *

Лирика последних лет поэта Александра Гевелинга — это почти сплошь признания и личные открытия. Как бы новое вхождение в счастье мирной обыденности. Казалось бы, несколько запоздалое освобождение души от войны, но каждый переживший войну по-своему отрывается от нее. Так, для А. Гевелинга ныне удивительно:

Не вечного боя,
Призыва, резона, причины —
Попросит покоя
Нелепое сердце мужчины.

Отрадно приучить сердце неторопливо наполняться ожиданием, например, весны. А там происходит и вовсе неожиданное:

И вдруг на том себя ловлю,
Что сам смотрю на мир глазами мальчика
И старый мир по-новому люблю.

Новизна окрыляет, пробуждает неведомые силы, какие-то непривычные для самого себя мысли: «Находя, мы не все находим. Понимая не все

поймем». Ощутить себя на земле ребенком — для поэта ощутить и младенчество земли. Вот у А. Гевелинга Волга в его родных калининских местах:

Сказочно талантливый ребенок
Не по дням растет, а по часам.
Не беда, что слишком часты мели,
Что вода пока не широка:
Просто пребывает в колыбели
Наша государыня-река.

С убеждающими интонациями кровно озабоченного человека ведет А. Гевелинг свой разговор о природе. Омытый новизной своего мироощущения, поэт неизменно оптимистичен. У него как бы снимается спор человека с природой. Да, он видит всю тревожность проблемы, но видит возможность ее разрешения. Например, так:

Вовеки не придется править тризн,
Когда, врачюя землю, душу грея,
Возобновится трепетная жизнь
Под колыбельным пологом кипрея —
Сосны султанчик,
Только малый знак,
Что будет бор в предбудущие годы.

И назидательно:

Не называйте похода — «пустяк»
Живую плоть
Кормилицы — природы.

Возникает даже впечатление, что калининский поэт с ходу врывается в то, что с болью, всем опытом пережито, например, В. Кузнецовым. А ведь и вправду он идет от другого — от памяти о солдате-калеке, про которого до сих пор неизвестно, выбросился ли он из окна, — а ведь как друзья сторожили. Он до сих пор сравнивает подковки на ботинках и армейских сапогах. Он пришел из войны. И ныне душа его словно проснулась «в зеленой колыбели», вдохнула мирный дым Отечества. И с юной волнующей радостью повторяет поэт родные имена земли.

* * *

Жизнь современной поэзии разнообразна и активна. Богата именами. Настолько богата, что многое ускользает от внимания — прежде всего критики, потому что у каждого автора с дарованием, с творческой любовью к жизни есть свой заинтересованный читатель. И однако, обидно, что десятилетиями работающие поэты не получают печатных откликов на свою работу. Тем более если «замолчанный» поэт безусловно их достоин. За примерами ходить недалеко. Долгое время оставалась без должной

оценки работа Николая Благова — ныне лауреата Государственной премии России. Упущение? Безусловно!

Не будем говорить о том, что своевременное ободрение и порицание сказывается на рабочем настрое писателя, хотя и эту истину стоит иногда повторять. Представлять поэта широкому читателю — значит помогать лучшему «кровообращению» литературы в жизни. И тут следует сказать, что, наоборот, упоминание в печати одних и тех же имен бесполезно опять-таки для здоровья сегодняшней литературы. В ней постоянно идет развитие, требующее всех наличных творческих сил. И печально, что ей постоянно грозит со стороны критики насильственное образование «тромбов» из явно уже отработавших «именных обойм».

Нет нужды заменять одни поэтические имена другими, вместо одних лучших авторов выдвигать других. Время само отберет. Важно сегодня не пройти мимо всех поисков художественной и жизненной правды.

В связи с этим остается добавить, что критическое внимание до сих пор чаще минует поэтов, живущих далеко от столицы, оставшихся верными своей малой родине, сберегающих в стихе черты родного края. Не выделяя их из общего литературного процесса, нельзя не учитывать и реальности существования их в современной литературе.

Виктор Дронников, Марат Тарасов, Александр Гевелинг, Валентин Кузнецов — авторы ряда поэтических книг, их стихи нередко появлялись в периодике. И каждый несет свое слово о современности...

ВИКТОР ДРОННИКОВ

Родился в 1940 году в городе Орле. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Много лет работал в газете.

Автор книг стихотворений «Колыбель», «Зеленый купол», «Земля-кормилица» и других.

ПОРТРЕТ

Гляну на фото отцовское в раме —
Общее есть в нас — в лице.
Все до мельчайшего помню о маме
И ничего об отце.

Вянут цветы над могилой, не вянут?
Где эта даль? Далека...
Как единица учтен и помянут
В пыльном архиве полка.

Кто мне подробные черточки выдаст,
Как он ходил, говорил?

Вот он на фото: рубашка навывпуск,
А папиросы курил?

И никогда не узнать мне об этом.
Поздно и нету концов.
Ладно о них, визуальных приметах,
Важен характер — лицо!

Станем когда-нибудь рядом с ним
в раме.

Общее есть в нас — в лице!
Светлая-светлая память о маме,
Долгая мысль об отце.

* * *

Безымянным героям 41-го года

Незапамятные даты —
Сорок первый на крови...
Безымянные солдаты.
Безымянные бои.

Отступали, отходили,
Огрызались вразнобой.
Безымянные могилы
Оставляли за собой.

Ни письма, ни похоронки
Ни оттуда, ни туда.
Безымянные воронки,
Безымянная вода.

Родниковым, синим током
Бьет и бьет из глубока.
Потому ты, знать, широка,
Волга-матушка река!

* * *

О, как земля преобразилась,
Что и не думала сама,
Где раньше поле колосилось,
Стоят высотные дома.

Все переделал труд упорный,
Но до сих пор душе родней
Ржаной закат. И ключ подгорный
Все бьется в памяти моей.

Все бьется в памяти метельной
Глухим вопросом бытия —
Неужто жили здесь отдельно
Земля и я, земля и я?

Трава гусиная пробила
Асфальт у самой коледи.
Земля, а ты не позабыла
Про годы детские мои?

* * *

Кем любима она, кем брошена?
Жилка тонкая на виске.
В этой женщине столько прошлого,
Как в дремучей лесной реке.

Как прекрасное из видений —
На скамейке сидит одна.

Нежной окцветью всех сиреней
Так прощально озарена.

Встрепенулась, поправив прядку,
И ушла, как уходят в сны.
Будто солнечную оглядку
Вдруг поймала со стороны.

АВГУСТ

Светлый месяц дождиком рассеян.
Тьма сарая старого густа.
Нежно пахнут яблоки на сене.
Тишина. И дверь не заперта.

Скоро-скоро с первой зарницей,
В медленной ночи освещена,

Ты пройдешь по старым половицам
Так, как ходит только тишина.

Молодая — на заре медовой,
С тихим жаром маленьких ступней,
Ты замрешь от счастья молодого,
Я замру от радости твоей.

КОНЕВ БОР

Все прозрачно. Все видится светлым:
Камышовая изгородь. Плес.
И слегка накрененные ветром
Оголенные ребра берез.

В перезвончатом Коневом боре
Лес прозрачен, как утренний сон.
И прозрачен щегол на заборе,
Словно вылит из воздуха он.

АВГУСТИНА

Упадают звезды августа
В тишь, в туманные края.
Приезжай скорее, Августа
Сентябриновна моя!

Здесь еще не захолинуло
И светлы домов глаза.
Только желтой грустью тронуло
Хвойнобровые леса.

Да, накрывшись туча тучею,
Застит солнечный денек.
Приезжай! Дождя колючего
Соберу я кузовок!

Ты хорошая. Ты славная.
Позабудь про слово то...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Давай-ка поменяемся глазами,
Чтоб ты на мир взглянула бы — моими.
Узнала, что за белыми лесами
Озера не бывают голубыми.

Они из хвои. Из коры еловой,
Из топляка, упавшего на дно.
Они из юности моей суровой,
Которую вернуть мне не дано.

Они из вьюг разбойничьи свистящих,
Из сгрудившихся к вырубке цветов,

И над белой травой поседелой
Белый вечер и легок и густ.
И в рассыпчатом яблоке спелом
Белозубый мальчишеский хруст.

Светел сад в светлом дождике дачном.
Я поверить готов чудесам,
Что и сам я, до капли прозрачный,
Окликаю себя по лесам.

Убежит обида давняя,
Как водица в решето.

Есть, конечно, в слове брошенном
Горечь с болью пополам.
Неужели в поле скошенном
Не взойти уже хлебам?

Не пройти нам поздней вспашкою
По заваленной стерне?
За свою жизнь рубашкою
И тебе, мой друг, и мне?

Августина! Зорька в платьеце,
Я от губ твоих отвык.
Ждет тебя и виноватится
Твой серебряный старик.

Из облаков, над ними проходящих,
Да из мужицких черных кулаков.

Они из горьких писем материнских,
Где, что ни слово, слезы или вздох.
Из пламени костров, из ветров
двинских,
Из грохота по наледи сапог.

Там нет озер голубеньких, как чаши,
Как синие Твардовского глаза...
А потому, что это души наши,
Расплеснуты в промерзлые леса.

Родился в 1928 году в Калининe. Работал киномехаником, кровельщиком. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького.

Автор книг стихов «Апрель», «Обелиски зовут», «Память», «Ожидание» и других.

ДАЛЕКО ЗА МАКСАТИХОЙ

Сюда добираться пока что непросто
Машинным и пешим:
В борах паутина дорог-перекрестков
Протоптана лешим.

Сыпучей дорогой идешь без тревоги.
Светает. Приятно.
А выведет эта дорога к Мологе —
И топай обратно.

Ищи, где тропинка польется в низину
И в гору крутую,
Тащи на ремне бельевую корзину,
Пока что пустую.

В канун сентября небеса купоросны,
Брусничники юны.
В бору, как в оркестре, натянуты
сосны —
Басовые струны.

Пока горожан здесь почти не
бывает —
Досюда неблизко,
И ухо блаженно весь день отдыхает
От свиста и визга.

А если совсем грибников оголтелых
Не встретишь — и ладно.
Зато на великие россыпи белых
И смотришь нежадно.

Затерянный путник, частица простора
В покое едином —
Ты видишь себя не хозяином бора,
А любящим сыном.

Бредешь и бредешь, опираясь
на палку,
Силенки растратишь.
А что до грибов, то, ей-богу, не жалко
Что все не захватишь.

ГОРОЖАНЕ

Из землепашеской глуши
Когда-то вышли горожане:
И псковичи, и осташи,
И калужане.
И в историческом вчера,
У деревенской колыбели,
Мы были чудо-мастера,
Мы все умели:
Сложить очаг, тачать сапог,
Ковать ножи, плести мерёжу,
Поставить сруб, испечь пирог,
Добыть рождогу.
А мой теперешний удел?

Скот не пасу, не жну, не сею,
Добротных пращуровых дел
Не разумею.
Стреножить лошадь? Не берусь.
Жене не выстругаю скалку.
Зарезать борова? Боюсь.
Его мне жалко.
Я не могу запрячь коня,
Ходить пешком я не желаю —
Как Митрофанушку, меня
Везут в трамвае.
Я вечно путаюсь в родне:
Кто свату зять, кто тестю деверь.

Не разобраться ночью мне,
Где юг, где север...
Но город сам — не лыком шит.
От спутников до женских бусин
Все может город, все решит,
Во всем искусен.
В деревне прежде, не спеша,
Дерюгу ткали, дуги гнули,
А вот блоху ковал Левша
Во граде — в Туле.
Но так и хочется порой —

БЕЖЕЦК

Шапок инеевых свежесть,
Вертикальный дым печной.
Достославный город Бежецк,
Деревянный и льняной!
Ах, ленок небесно-синий,
Незатейливый цветок!
Здесь льноводки — героини,
Здесь гостиница — «Ленок».
Здесь и улицы не уже
И не хуже вязь домов.
Он и сам собой не хуже
Очень многих городов.
А подумать непредвзято —
Что ж особенного тут,

Не по нужде, по доброй воле —
Взять и простецким топором
Набрать мозолей,
Солому скирдовать в жнитво
В охотку, весело-удало,
И чтобы к вечеру всего
Тебя ломало.
Но скуден времени запас,
А потому мозоли редки,
И я прошу: почаще в нас
Бунтуйте, предки!

Если здешние щурята
Керосинцем отдают,
Если здешние равнины
Льнами долгими полны,
А приходят в магазины
Синтетические льны?
Мы судить не будем строго,
Свой у Бежецка расчет:
Старичок, как может, в ногу
С веком нынешним идет —
Не особенно богатый,
Не широк и не высок,
Тороватый, скучноватый
Старорусский городок.

МАРАТ ТАРАСОВ

Родился в 1930 году в Кондопоге. Окончил Петрозаводский государственный университет имени О. В. Куусинена и Литературный институт имени А. М. Горького. Выпустил книги стихотворений «Друзья мои», «На Север», «Малая пристань», «Наедине» и другие. Один из авторов перевода эпоса «Калевала».

* * *

Пахнула осокою осень,
Я в тайное тайных проник.
Здесь окунь устало возносит
Над чистою влагой плавник.

С доверчивостью смиренной
В борт лодки уткнулись мальки,
И волны земных испарений
Я слышу, как сердца толчки.

Мир вывернут наизнанку,
Природою правит ленца,
И зверь не идет на приманку,
И щука обходит живца.
Но знаю я ласковость рыси
И чувствую, веки прикрыв,
Рассчитанность в каждом капризе
И в каждой причуде порыв.

* * *

Над домами дымки
Как предвестие дня молодого.
И сидят рыбаки
Посреди озера небольшого.

Рядом с шумным шоссе,
Отрешившись от бранных вопросов,
Как мыслители все —
В неподвижных задумчивых позах.

Стужа лютая жжет,
А со спичкой наклонись к лунке —
И в лицо полыхнет
Синим пламенем, как из форсунки!

И глубоко на дне,
В непробудном болотистом иле,
Чтоб исчезнуть в огне,
Травы силу веками копили.

* * *

Яркой вспышкой блеснули
Деревца из синей мглы,
Словно пламенем плеснули
Орудийные стволы.

Скоро гроздьями салютов
Листья легкие вспорхнут
И ликующе сольются
В ослепительный салют.

Хоть гляжу я не впервые
На летучий бунт огня,
Эти выплески живые
Нынче праздник для меня.

И вот уже ягодой волчьей
Раздавлен в болоте закат.
Прижатые облачной толщей,
Все твари лесные молчат.
Над озером ельник насуплен,
И ветер летит низовой...
Немало душевных зазубрин
Залижет сегодня прибой.

И в негаданный миг
Взмыли кверху и вспыхнули сразу
Тыщи жизней былых,
А не струи болотного газа.

Превратились в огни
На своей неожиданной тризне
Все угасшие дни
С их безудержной волею к жизни.

Умирает порыв,
Но достаточно искры кресала,
Чтобы, время смирив,
В этом пламени все воскресало.

Неизбежен уход,
Только ближе другие мгновенья,
Ослепляющий взлет,
Как ликующий знак возвращения.

Увядание всего лишь,
Ну а я-то подглядял,
Как кустарника околыш
Из оврага заалел.

Листопад — чего уж проще,
Только плавится туман,
И редутами две рощи
По окраинам полян.

Наготове держит осень
Шест запальника в руке
И опасно подносит
К багровоющей ольхе.

* * *

У кромки берега я встречен
Прогибом наледи резной,
Угластой линией трещин
И сосен звонкой приамизной.

Все убывает, отступая
К турбинам станции, вода,
И, оседая, лед припая
Выстреливает иногда.

И мир, пронизанный шрапнелью
Грачиных стай, на той черте,
Когда пора дивить капелью
И чудесами в решетке.

* * *

Нынче осенью бледные краски,
Да и света немного, увы,
И ложится снежок без опаски
На холодное пламя листовы.

Кругловатые крапинки снега
На пожухлой траве, на земле,
Это масти соловой и пегой
Кони времени скачут к зиме.

И невидимость дружных усилий
Сочетается с далью земной,
С побережьем в пенистом мыле
И с высокой гривастой волной.

И торопиться без указки
Свои заканчивать дела,
Пока на облик зимней сказки
Обычность тенью не легла.

И, неуверенность развеяв,
На все решившись до конца,
Круши, весна, срывая двери,
Хрусталь ледового дворца.

Ломай строеень даровое,
Раздвинь завесу синевы,
Чтобы взметнуть над головою
Шатер березовой листовы.

Но в движенье своем постоянном
Зыбок мир, окружающий нас,
И легко обернется обманом
То, что выставил день напоказ.

Не спеши, соглядатай предзимья,
Заносить наблюденья в тетрадь,
Ведь примета, обретшая имя,
Так нечаянно может солгать.

Лучше стань у березки нарядной
И в открытую книгу души
Ликованье свое запиши,
Доброй осени отзвук отрадный.

всегда в пути

ВЯЧЕСЛАВ МОЛОДЯКОВ

Родился в городе Бежецке Калининской области. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Стихи печатались в альманахе «Поэзия», в журналах «Москва», «Юность», «Смена».

Автор поэтического сборника, вышедшего в издательстве «Советский писатель».

Живет в Москве. Работает корреспондентом в газете «Гудок».

ПРОВОДЫ 43-го

В рассветной мгле качались звезды,
Гудел перрон, дрожал вокзал.
Гремел оркестр.
Как будто гвозди
Звеняще-медные вбивал.

Нам было некого в то утро
Ни провожать и ни встречать,
Но так хотелось почему-то
Заплакать или закричать.

И мы смотрели отрешенно,
Не по-мальчишески бледны,
Как уплывали эшелоны
Куда-то

в сторону войны.

Нас всех одно родство связало.
Одно предчувствие светло...
Я до сих пор боюсь вокзалов,
Хоть столько лет уже прошло.

ГОЛОС ОТЦА

Туда,
Где на сыром песке
Лежал он, обожжен осколком,
Где ива,
наклонясь к реке,
Свою стирает гимнастерку,
Где ключ,
Как пульс неровный бьет,
Дымит проселок в отдаленье,
Где был один когда-то счет
У вечности
И у мгновенья,

Туда,
Где, страшный след храня,
Сосна почти не держит крону —

И день, и ночь зовет меня
Все тот же голос воспаленный,

Похожий на протяжный стон,
Тревожно на рассвете мгlistом,
Пробившийся

из тех времен,

Зарубцевававшихся почти что.
Отец!

Ты не сгорел в огне.

Ты с каждым годом

ближе, ближе,

Как будто были на войне

Мы вместе,

Но один я выжил.

КАМЧАТСКИЕ КАМНИ

Когда засвистит над причалом
Ветров обжигающий кнут,
Я слышу, с какою печалью
Камчатские камни поют.

На грани прибоя и суши,
Где бродит в тумане закат,
О чем их бессмертные души
В тот миг мне поведать хотят?

* * *

Дни убывают, убывают.
На сердце смутно и темно.
Ветра деревья обирают,
А им, казалось, все равно.

Им ничего уже не снится,
Их память словно сожжена.

БЕДСТВИЕ

Опять в жару горят леса,
И раскаленно
дышит полночь.

Опять я слышу голоса
Зверья,
Зовущего на помощь,

Метущегося меж огней
В капкане бедствия лесного.

О предках моих безымянных,
О судьбах безвестных людей,
Что смотрят

со дна океана
На хмурые лики камней,

Что жили, любили, страдали,
Заложники черных штормов,
И этим камням передали
Последнюю песню без слов.

В такую пору только птицам
Свобода выбора дана.

Как быстро
от неясной боли
Земля успела постареть!
Скорей бы снег нагрянул,
что ли,—
Нет сил в лицо ее смотреть.

В час верной гибели
своей

Оно мне все
простить готово —

И порохом пропахший век,
И смрадный от бензина ветер.
Оно кричит мне:
— Человек,
Спаси! Ты можешь все на свете.

Родился в 1946 году на Украине. Окончил сельскохозяйственный институт.

Автор четырех поэтических книг на украинском языке и двух на русском — «Судьба» и «Ранние птицы».

* * *

Утром —
и веселым и росистым —
выйду на родимое крыльцо.
В самом да высоком, да лучистом
отчем небе — радости лицо.

Я ее почувствую по длинной,
по звенящей песне ручейка
да еще по стати лебединой
звучно именитого цветка.

По скользящей плавно веренице,
неприметной вроде бы на глаз,

* * *

Это уходит в начало начала,
в толщу снегов,
в глубину полусвета.
Птица с березы в распев прокричала:
было, да нету!

Шел я на эхо сквозь грусть
краснотала,
слушал, как тополь, прощальное лето.
Птица отчаянно мне прорыдала:
было, да нету!

Может, и вправду излишни
присловья,
может, твой голос —

жалобно курлыкающей птице,
знатной и любимой среди нас.

По цветущей яблоне на горке,
что узнала будто бы сама,
как плодом и сладостным и горьким
обернулась прошлая зима.

Я ее узнаю по тревоге,
по тому волнению в груди,
что болит предчувствием дороги,
у которой счастье впереди!

он мне только снится.
Но просыпаюсь — стоит в изголовье
белая птица.

Радость моя, отшумевшая рано,
мучай меня, седины не жалея.
Сердцем коснусь
твоих крыльев желанных —
небо алеет.

Утро и птица,
надежда и птица
мчатся по свету.
Больно и сладко дорога искрится:
было, да нету!

* * *

Я хочу, чтоб оставался вечным
залитый лучистым солнцем луг,
ты в спящем платье подвенечном
без твоих сомнений и подруг.

Да чтоб я — с душою нараспашку
в молодой высокой чистоте.

Да еще влюбленная в ромашку
рыженькая птаха на кусте.

А еще — тропинка на песчаник,
да трава — кукушкина слеза,

да еще — глаза без обещаний,
колдовски дымящие глаза.

Чтоб луна мечтательно всходила,
чтобы тихо-тихо вечер плыл.
Чтобы ты восторженно любила,
чтобы я без памяти любил!

Чтоб дышали эти добрым ладом
наши предстоящие года.

Чтоб никто неосторожным взглядом
нас с тобой не сглазил никогда.

ПИСЬМО СКВОЗЬ ЯНВАРЬ

Как будто буйный цвет акаций
май отряхнул в седой январь.
Синицы в гомоне оваций
перемешали календарь.
В душе пронзительно и чисто
журчит веселый родничок.
Так хрустко, щекотно, искристо
цветет за окнами дичок.

Под невысоким небосклоном,
что по утрам зарей расшит,
по рощам, пажитям, загонам
моя мечта к тебе спешит.
Она тебя среди ночи будит
и шепчет, унося покой:
такой зимы уже не будет,
не будет нежности такой...

* * *

Сверкали остро молнии из тьмы,
пророча путь,
что славою увенчан.
И торопливо целовали мы
белоголовых мальчиков и женщин.

Мелькали мимо горы и леса
и отступали, делаясь все меньше.
И восходили звездами глаза
белоголовых мальчиков и женщин.

Мы возвращались, завершая круг,
латать на крыльях паутину трещин.
И нас встречала нежность милых рук
белоголовых мальчиков и женщин.

Приходит день, и сыну от отца
дается путь,
что прадедом завещан.
И нету ожиданиям конца
белоголовых мальчиков и женщин.

Переводы с украинского
Вадима Кузнецова

Родилась в 1952 году в Москве. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Работала лаборанткой, учителем пения, медсестрой. В настоящее время работает младшим редактором.

Стихи публиковались в журнале «Молодая гвардия», в альманахе «Поэзия».

* * *

А меня никогда не оставит
Ни сосна — две развилки вверху,
Ни изба — от земли и до ставен
В потемневшем от времени мху.

Ни размывы туманного луга,
Ни осенних дождей перевет...

* * *

Ах, все это мимолетом!..
Посреди почтенных дел
Вдруг танцует и поет он —
Так, как сам того хотел.

И взлетает юный голос,
И летит упругий жест
В нарастающую скорость
Листьев, сумерек, небес.

* * *

Старый человек стихи читал.
Он был сед. Он все на свете знал.
Знал слова на вкус, на цвет, на ощупь.
Языком по небу — будто в роще
Холодок прощальный пробегал.

Из-под неба, как из поднебесья,
Еле слышно раздавалась песня —
Так была грустна и далека.

Вдруг прислушаюсь — песней, как
вьюгой,
Неожиданно сердце проймает.

Вдруг очнусь — вьюга песнею старой
Обоймет, отогреет, вернет
И уже никогда не оставит —
За край света со мною пойдет.

Он поет — и это значит,
Все как следует пока.
Шутит он, ликует, плачет
И валяет дурака.

И куда будет длиться
Этот праздничный полет —
Ничего он не боится,
И танцует, и поет.

Кто-то там кружил, кричал, прощался,
Все не мог расстаться, возвращался,
Преодолевая облака.

Но пропал. И песня оборвалась.

Лишь в ушах теперь звенеть осталась,
Как щемящий и родной мотив,
Где нельзя схитрить, слукавить, сбиться,

Можно подхватить и позабыться,
Голову руками обхватив.
Человек читал. Чего же проще?
Уезжал. Уехал. Смог. От рожи

Поезд вез на юг. все веселей.
А ему казалось — будто в дождик
Он стоит на просеке заросшей,
Кличет улетевших журавлей...

ПТИЦЫ

Так, значит, в небо — высотой больны!
Чтоб крылья плавно напрягать в полете.
Вы, птицы, ослепительно вольны
И потому, наверное, поете.

И потому вам удается жить
Легко и весело в большом и малом —
Вам, смеющим отчаянно кружить
Над головокружительным провалом.

Ну что же... У крылатых голова
От высоты не кружится. Однако
От скованности кружится, от мрака,
От сумерек, где выстрел или два

Их ранят влет, их бьют...
Но все же птицы
Готовятся, еще не веря в смерть,
Нет, не упасть, а яростно взлететь.
Нет, не упасть, а предпочесть
разбиться.

Родился в Москве в 1949 году. Окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина.

Автор трех поэтических книг: «Первая лыжня», «Серебряная изнанка», «Переходный возраст».

* * *

Да здравствует сожаление —
по этой земле с палатками,
где ягоды можжевельные
оклеваны куропатками,
где свет отражений баржевых
сольется с мерцанием оттепели,
когда животами важенок
светлеют на реках отмели!

Да здравствует сожаление —
по ўтру, вагону-домику,
по кошкам, чье шевеление
набьет радиатор доверху,
по светлому и по грустному
осеннему дню с узорами,
где Ошка-медведь похрустывает,
как пряником, мухоморами.

Да здравствует сожаление
по людям в мазутных маечках,
рождающим удивление
судьбой — по-земному маетной,
судьбой, у безволя отнятой,
лишенной глазури пряничной,
и все-таки — очень огненной,
и все-таки — очень правильной!

Когда, сдвинув кепки козырем,
ребята влезают в спальники,
и кедр опрокинут в озеро,
как щетка на подзеркальнике,
и жалость — как озарение
по чудному веку-мгновению,—
да здравствует сожаление —
по этому сожалению!

...Напрасно звенит в транзисторе
«Для тех, кто не спит» и прочее.
Сопит ребятня неистово,
родные мои рабочие,

* * *

Вот я иду, тобой навек любимый,
пою под шаг неповоротных ног:
— Лети, лети, снежок неопалимый!
Будь счастлив, если можешь. Я — не смог!

Позвякивает ночь звездой колючей.
Из белых труб идет везучий дым.
Но я пою, пою на всякий случай
о том, как я и сир и нелюбим.

В душе — опустошение степное.
В виске к утру поселится скворец.
А эту ложь искупит отступное:
слезами, жизнью, смертью, наконец...

* * *

Не плачь, я тебя никому не отдам:
ни письмам, ни снегу, ни сну, ни годам!..
В окопах твоих — я зеленый солдат.
Сиротством твоим я и нищ, и богат.
Любовью твоей я отпит и отпет.
На первый вопрос я — последний ответ.
В тумане от мачт отличаю корму...
Не плачь! Я тебя — никому, никому...

Родился в городе Бийске в 1948 году. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Живет в городе Солнечногорске Московской области.

Автор книги стихов «Листобой».

* * *

Заполнит веранду моторчик шмеля,
пропахнет сиренью квартира.
Давай улыбнемся, подруга моя,
несчитанной мелочи мира.

Настойный озерный чешуйчатый чад
и темные всхлипы удода...
Давай улыбнемся. До гроба богат,
от таволги до небосвода.

Превыше ли это отпущенных сил...
О как мы бескрылы, голубка!

* * *

Дар привычный, смертельный
и сладкий,
жизнь, был властен и я над тобой.
Но когда?.. На четвертом десятке
человек обрывает судьбой.

Протекло себе время не сисясь
по колдобинам грешной земли.
Мы в державной волне отразились,
а в какой же еще мы могли?!

Как старались мы с самого детства,
наше кровное время любя,
в эти темные зыби вглядеться
и увидеть большими себя.

Виноваты ль провалы мирские,
что в изломах великой воды

Кто ж тяжкую душу вот так размягчил,
что пьет это небо, как губка?

О это вместилище мошек, скворцов
достойно невольного стопа
за утренний дух молодых огурцов,
грохочущий запах озона!

За то, что полно человечьих преград
меж нами и просто сиренью,
за плен ожиданий, рассеянный взгляд
и только урывки прозренья.

мы увидели лица людские,
но кривились живые черты?!

О не надо лукавить, ребятки,
что по жизни мы шли напрямик!
Пусть благие, но все же оглядки
создавали наш нынешний лик...

О как многое втуне заглохло!
О как много воды утекло!
Утекло, чтоб назваться эпохой,
поглотив наших жизнью тепло.

Этот плеск утешающий страшен,
чья берущая воля крута...
Только что он без участия нашей! —
лишь прибой да пустая вода.

* * *

Нет, не морщины, утренние складки —
пока от них старей твое лицо,
но вышли тайны наши и загадки...
О как твое сносилось пальцецо!

Я знаю, многое промчалось мимо.
И вот задуло праздную свечу,
и стало сердце к многому терпимо,
и о тебе с тобою я молчу.

Но о тебе, еще ты у порога,
я все прочту и по твоим шагам.
И просто знаю, ты сейчас продрогла,
и холод рук прильнет к моим щекам...

Как ясен путь! Но не наступит ясность,
кому какого прибыло тепла.
Лишь есть оно, и жгучая негласность
на две души немолчные легла.

Не молкнуть им... Но только что на свете
еще расскажет, если не слова,
про сон из детства, слезы на рассвете
и про пальтишко, ладное снова?!

* * *

Весь белый свет моя округа
округлой прорвою ноля...
Но нет! Со мной моя подруга
и дума русская моя.

И пусть уже скудеет сердце,
трезвеет сердце, все равно,
о, как дано еще согреться
и как продрогнуть мне дано!

Во что не вник, чего лишенный,
но чую, преклонив главу,
тепло руки незащищенной
и холод снега к покрову.

Крутого времени громаду
необделенными пройдем,
покуда есть еще на чем
в слезах остановиться взгляду...

* * *

Вот и осенняя дорога,
хотя какие там года...
Но эти сумерки до срока!
Но эта зябкая звезда!

Штрихом пространство обозначив,
слетают хлопья с высоты
на наши поздние удачи,
на почерневшие цветы.

И все грузнее гнется ветка,
и все пустыней во дворе,
но снега павшего подсветка
всего нужнее в ноябре.

Каким святым поставить свечки
за тишину, что словно впрок,

* * *

Когда настанет час тяжелый,
мой час мучительного дня,
я знаю, птицы, лес и доли,
вы все оставите меня.

Кому вы можете ответить
на тихий взгляд
зовущих глаз?!

И, все теряющий на свете,
я пожалею не о вас.

Зачем мне ваше лепетанье?!
Что вам дрожанье влажных век?!
И, закрывая мирозданье,
ко мне склонится человек.

И грустный лик его восстанет
над ворожбою бытия,

* * *

Я болен, Нина, и синица
руке усталой тяжела,
и есть лишь сон: большая птица
полощет в небесах крыла.
Но журавля не выбираю.
Откроешь светлое окно
в осенний пир, беру, что с краю,—
и без застолия хмельно.
Какая грустная отрада
вкушать от радости земной,

за след твой легкий на крыльчке
и твой из юности снежок?

И звук шагов твоих дорожке —
вот так по позднему пути...
А счастье опоздало, может,
чтоб только ты могла прийти.

и он большим, как в детстве, станет,
всему подсудный судия.

И, забывшись срывая путы,
я буду этот взгляд ловить,
боясь терять его, как будто
боясь порвать живую нить.

О грешный час всего живого,
пустыне ль жизни поражусь —
мученьем разума и слова
в тебе одном, но отражусь!

И обернусь хоть сном безвестным,
когда, навеки отроптав,
сольюсь и с лепетом древесным,
и с шепотком дремучих трав.

когда уже так мало надо
и мир не властен надо мной.
Я выбрал все. Глаза закрою —
и все, что кровное, видней.
И я склоняюсь головою
к любви и Родине моей.
И потому не плачу, Нина,
ничто впустую не терпя,
ведь эта мука — не чужбина,
и этот свет — не без тебя.

К переднему краю осенней страды,
 Где бой за атакой, атака за боем —
 Трудно земля воздаёт за труды.
 Усилья — огромны. Успех — быстротечен.
 Бывает, подступит, и ты уже скис.
 И все же я верю — есть в битве извечной
 Непреходящий и радостный смысл.
 Есть смысл трудиться: гонюсь не за тенью.
 Желанье работать в поту и в крови.
 Упрямый и сильный, я верю в затею
 Собственных рук и своей головы.

* * *

К врачу б пойти...
 Да, кажется, здоров.
 Не спится только
 По ночам в квартире:
 Палатки снятся,
 Зарево костров
 И звезд пунктиры.
 С собой не совладать...
 Вожу круги
 По заповедным
 Подмосковным паркам,
 А сердце рвется

На простор тайги,
 К извечной
 Красоте ее неяркой.
 Я в тех краях бывал,
 И не однажды.
 Порою кажется —
 Себя оставил там.
 Не потому ль
 Так совесть будоражит
 Короткое такое
 Слово — БАМ?

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

На сопки упавшее небо:
 Бежит за бортом вода.
 Где бы ни жил и не был,
 Я возвращаюсь сюда.
 Как мать над кроваткой сыновней,
 Заботлива и строга,
 Всю ночь над моим изголовьем
 Песни поет тайга.

Пусть впечатления
 множатся,
 Ты — печаль моя, мой
 восторг...
 Никогда до конца
 не уложится
 В голове моей
 Дальний Восток.

Родился в 1933 году в Курске. Живет в Хабаровске. Печатался в коллективном сборнике «Волшебное дерево» (Хабаровское издательство, 1974), в журналах «Дальний Восток», «Наш современник». В 1982 году вышла первая книга поэта «Тревожная память».

ВЕТЕР

Возник внезапно — и исчез,
как у разъезда гул экспресса.
Он был недолгим гостем леса,
но раскачал дремавший лес.

И в ствольных скрипах, в гуле крон
почудились людские крики,

и неба голубой неон
метнул по темным травам блики.

И показалось мне в тот миг,
что в небе лес полощет ветки
и узкий месяц бьется в них,
как в бредне тщетно бьется сиг,
пытаясь выскочить из сетки.

ИЗБРАННОЕ СМОЛЯКОВА

«Нет, твои не проходят бесследно года» *.
Жизнь такую не спрятать под крышкой...

И когда наступают в душе холода,
я беру эту тонкую книжку.

И затеплится в сердце Степан Смоляков
небольшим костерком стихотворным.

Из глубоких, родимых российских веков
теплота его строк непритворных.

Небогат у стихов переплетный наряд,
но стихи его — в скромной обложке,—
словно путника в стужу, тебя одарят
огонечком в приветном окошке.

Так порой из амурских ночных тальников
светит чья-то рыбачья примета,

костерком стихотворным горит Смоляков —
«Дядя Степа», так звали поэта.

* Строка «Избранного» С. Смолякова, хабаровского поэта.

* * *

За речкой закат золотится,
в снопы увязавши лучи,
и небо в округе томится,
как пшенная каша в печи.

И бойкие сельские дети —
в загаре от плеч и до пят —

* * *

В новую осень без всякой печали
я проводил журавлей.
Дворники листья сжигают ночами —
пусть отгорит листовей.

ЗАТЯЖНЫЕ ДОЖДИ

Наплывут порою дни —
никуда от них не деться.
В тучах прячутся огни,
у которых мог погреться.

* * *

Жизнь —
то ли поле, а может, чащоба.
Совесь и Вера —
со мною до гроба.

купаются в солнечном свете,
как милая стайка утят.

Смеркнулось. Притихла потеха —
пора ребятам по домам.
И стада далекого эхо
к селенью летит по холмам.

Что мне грустить, если ветры окреста
звонко играют в листвяную медь?
Только бы птицам добраться до места,
листьям — как можно бездымней
сгореть.

Хоть бы маленький просвет,
хоть один-единный лучик!
Пусть блеснул бы, как браслет
от часов,—
и стало б лучше.

Совесь подсказет вернее пути,
Вера посветит —
и легче идти.

Родился в 1933 году в Брянске. По окончании строительного техникума работал в Сибири. Учился в Литературном институте имени А. М. Горького.
Автор книги стихов «Начало слов».

ПЕСНИ МАТЕРИ

Вот услышу над створом ворот,
Над лесной нависающей чашей
Голос матери, в небе звучащий,
Вот услышу — душа обомрет.

Ах, как пела, бывало, она,
Как напев выводила, бывало,
Как душа ее дивно звучала,
Как на крыльях носила меня.

Пела утром — стирала белье,
Полоскала — смеялась и пела.
Чудо-радуга — мыльная пена —
Словно нимб окружала ее.

Как же было все это давно!
Сердце млело в мечтаниях сладких.
Помню, фикусы в крашенных кадках
Все лететь порывались в окно.

Точно росный комок в лопухе,
Эта песня струилась, дрожала.
А река между тем все бежала,
Солнце выше лепилось — к стрехе.

Пела в полдень — варилась еда.
Плыли звуки — легки и крылаты.

Пели плошки, и пели ухваты,
Пела в печке — кипела вода.

В стекла лил, клокотал солнцевей,
На полнице звенела посуда.
А река все бежала оттуда —
Прямо с неба, с нависших ветвей.

Пела вечером — мыла полы,
Лила пойло, мешала полову,
Пели струи — доила корову,
Пели волны сгущавшей мглы...

Я лежу. Я дремлю. Я плыву.
Точно в куплице, точно в крещальне.
Стук валька раздается на пральне.
Где же это? Во сне? Наяву?

Я лечу в голубой вышине.
Я лечу в глубине беспредельной.
Звуки сладкие — той колыбельной —
Все звучат, все ликуют во мне.

Я — бегущий вперед и вперед,
Я — года свои тускло влачащий,
Голос матери, в небе звучащий,
Вдруг услышу — душа обомрет...

* * *

Напрягается луг,
выгибается лог.
Первый выползок-жук,
первый влет-королек.

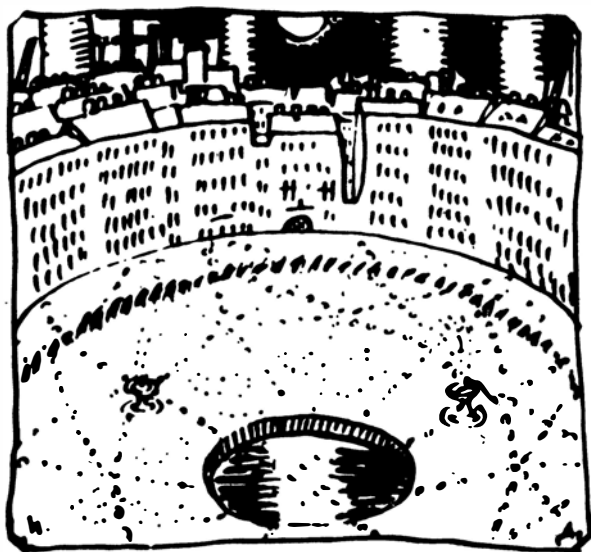


Рис. М. Добужинского

ВИТАЛИЙ ЗВЕРЕВ

«ПЕВЕЦ ПЕЧАЛИ И СТРАСТЕЙ...»

(К 180-летию со дня рождения поэта А. И. Полежаева)

Как ни у одного поэта, творчество А. И. Полежаева автобиографично. Многие стихи написаны им по случаю событий собственной жизни или по следам живых впечатлений. И тем не менее биография поэта мало известна. Исследователи жизни и творчества Полежаева располагают скудными документальными материалами. До сих пор некоторые факты из жизни поэта остаются не до конца проясненными. Только редкие свидетельства современников да сама поэзия Полежаева могут служить подспорьем для реконструкции жизненного пути поэта.

Почти целый век можно было только предполагать о точной дате рождения А. И. Полежаева, и лишь тщательное сопоставление множества документальных данных позволило И. Д. Воронину установить, что «Александр Иванович Полежаев родился 30 августа (11 сентября) 1804 года в селе Рузаевка бывшего Инсарского уезда Пензенской губернии, ныне Рузаевского района Мордовской АССР».

Александр был незаконнорожденным сыном помещика Леонтия Ни-

колаевича Струйского и дворовой крестьянки Аграфены Ивановой, брак между которыми в силу социальных устоев был невозможен. Чтобы узаконить положение сына в обществе, Л. Н. Струйский нашел в городе Саранске мещанина Ивана Полежаева, который за вознаграждение фиктивно женился на Аграфене Ивановой и в одну из ревизий приписал в свою семью ее незаконнорожденных детей, в том числе и Александра.

О детстве поэта сохранились не всегда вызывающие доверие, порой разноречивые свидетельства современников или вольные пересказы слухов. При этом более достоверным документом, пожалуй, является автобиографическая поэма «Сашка» (1825). Здесь есть несколько ирониче-ское описание поэтом своего детства:

...родитель
Его до крайности любил,
И первый Сашеньки учитель
Лакей из дворни его был.

Этот «ментор славный» смог научить своего воспитанника только тому, «что дитя болтал исправно весь сквернословья лексикон». Однако такое, хотя и автобиографическое, описание в силу его иронического характера нельзя принимать на веру буквально.

Александр воспитывался в усадьбе Л. Н. Струйского и не был лишен отцовского внимания. Леонтий Николаевич предпринимал всевозможные меры для того, чтобы дать сыну надлежащее образование: определяет его в модный в те времена пансион Визара для подготовки к поступлению в Московский университет.

Пока Александр учился в Москве, с Л. Н. Струйским произошло несчастье: в начале 1817 года он был обвинен в убийстве своего управляющего М. Вольнова и отправлен в ссылку в Сибирь. Александра, оставшегося без материальной поддержки отца, опекали близкие родные Л. Н. Струйского. Истинным благодетелем Полежаева в трудные для него времена становится дядя и крестный отец Александр Николаевич Струйский, который постоянно поддерживал его материально, а когда Полежаев решил вовсе бросить учение, приютил его у себя в Петербурге и предпринял необходимые меры для того, чтобы незадачливый племянник возобновил занятия в Московском университете. Со временем меняется иронически-укорительное и несколько пренебрежительное отношение Полежаева к своему кровному отцу. Узнав о трагической смерти Л. Н. Струйского в ссылке, он напишет о нем:

А ты, примерный человек,
Души высокой образец...
...Прости меня: моя вина
Ужасной мезтью отмщена.

Если сравнивать судьбу и дарования А. И. Полежаева и его кровных родственников по линии Струйских, то можно заметить прямые генетические связи между ними. Дед поэта, Николай Еремеевич, окруженный

многочисленным семейством, вел тем не менее уединенный образ жизни, не вникал в мирские дела и заботы дома, и причиной тому было его увлеченное занятие поэзией, да он и сам сочинял стихи. Отец Полежаева, Л. Н. Струйский, обладал тоже творческими способностями, но был человек «слабый, крайне неустойчивый и увлекающийся». В пьянке, по свидетельствам современников, он «становился невыносимым даже для родной матери». Можно сказать, что к трагическому завершению жизни его привело не столько стечение обстоятельств, сколько чрезмерное увлечение алкоголем. Печальный конец был уготовлен и благодетелю Полежаева, «честнейшему человеку и бесстрашному воину» Александру Николаевичу Струйскому: он был жестоко убит своим крепостным, которого он когда-то наказал за кражу и который поклялся тогда отомстить своему барину. Трагическая судьба, как неизбежный рок, довела над членами семейства Струйских, близкими Полежаеву, и как бы закономерно втянула в свой круговорот жизнь нашего поэта.

Когда судьба уготавливала Полежаеву заточение или жесткий порядок солдатской службы, свобода была его путеводной звездой. В поэме «Сашка» есть описание основных черт характера героя:

Свобода в мыслях и поступках,
Не знать судьбою никого,
Ни подчиненности трусливой,
Ни лицемерия ханжей,
А жажда вольности строптивой
И необузданность страстей!

Идеалом Полежаева становится непокорный, свободолюбивый человек; поэт посвящает свою жизнь поиску «буйственной свободы», и даже трагические и невыносимые жизненные обстоятельства не смогли сломить это гордое, сокрытое в душе поэта свободолюбие.

Любопытно формирование литературных пристрастий Полежаева. Лучшее из русской и зарубежной литературы становится для поэта увлечением и образцом: Пушкин и Жуковский, Байрон и Гюго... Следствием чего это было? Результатом домашнего воспитания, о котором почти саркастически вспоминал поэт? Или изучения литературы в модном пансионе? В университете? Вряд ли. Литературные вкусы и поэтическая самобытность Полежаева были скорее всего следствием волеизъявления собственной, необыкновенно одаренной, в чем-то категоричной целеустремленной души поэта. Это строгий вкус поистине талантливого от природы человека.

Первые произведения поэта не были лишены подражательности. Так, возникновение даже поэмы «Сашка» имело толчок извне: при этом в качестве образца Полежаев избрал начало известного романа в стихах Пушкина. К тому времени в печати появилась только первая глава «Евгения Онегина», которая, по всей вероятности, восхитила Полежаева и вдохновила его на написание шутливой, зазорной и необыкновенно талантливой пародии, в которой была рассказана история жизни героя с берегов Москвы-реки. Искра пушкинского гения отозвалась ярким всплеском в буйном таланте Полежаева.

Отмечая оригинальность и заявленный талант Полежаева в «Сашке», смелость соперничества и даже разговор на равных с Пушкиным, нельзя относиться к этой поэме как к зрелому произведению: ее молодой, в чем-то «хвастливый задор» вскоре сменится стихами, возникающими в результате глубоких чувств и переживаний, сменится и тональность сочинений Полежаева.

Развитие поэтического дарования Полежаева встретило в самом начале непредвиденные преграды: судьба оказалась немилостивой к недавнему выпускнику Московского университета. Летом 1826 года в Третье отделение был доставлен донос «О Московском университете», в котором, в частности, цитировались фрагменты из поэмы Полежаева, а содержание ее характеризовалось как наполненное «самыми пагубными для юношества мыслями». С доносом ознакомили царя, прибывшего в Москву, а также представили ему один из списков полного текста поэмы Полежаева. Прочитав все это, Николай I направил министру народного просвещения А. С. Шишкову записку: «Имею необходимую надобность вас видеть, равно особу здешнего университета генерала Писарева, и прошу вас быть ко мне завтра, в 11 часов пополудни, и если есть налицо здесь студент Александр Полежаев, то и ему быть тогда же ко мне». Это свидание со временем обросло легендами. После встречи с царем приобретший популярность в кругах московского студенчества поэт Полежаев «для примера другим» был отправлен в военную службу и стал унтер-офицером учебной команды Бутырского пехотного полка.

Горькая доля правды заключена в словах А. И. Герцена: «Ужасная, черная судьба выпадает у нас на долю всякого, кто осмелится поднять голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; поэт ли, гражданин, мыслитель,— всех их неумолимый рок толкает в могилу. История нашей литературы — или мартиролог, или реестр каторги. Даже те, которых правительство пощадило, погибают, едва распустившись, спеша покинуть жизнь... Рылеев повешен Николаем. Пушкин убит на дуэли, тридцати восьми лет. Грибоедов зарезан в Тегеране. Лермонтов убит на дуэли... на Кавказе. Веневитинов убит обществом, двадцати двух лет. Кольцов убит своей семьей, тридцати трех лет. Белинский убит... голодом и нищетой. Полежаев умер в военном госпитале, после принуждения служить солдатом на Кавказе...»

Вспоминая о Московском университете, М. Ю. Лермонтов писал:

Хвала тебе, приют лентяев,
Хвала, ученья дивный храм,
Где цвел наш бурный Полежаев
Назло завистливым властям...

Хотя Лермонтов и поступил в университет двумя годами позже того, как Полежаев это заведение окончил, но он прекрасно знал о печальной истории Полежаева. Лермонтов был хорошо знаком и со стихами опального поэта. Полежаевская поэма «Сашка» явилась если не прообразом лермонтовского «Сашки», то влияние ее несомненно: на преемственную связь между этими произведениями указывал сам Лермонтов:

...«Сашка» — старое название!
Но «Сашка» тот печати не видал,
И, нездоровый, он угас в изгнание.

Поэты были близки и духовно: огромное место в творчестве того и другого занимала, например, демоническая тема, а одним из определяющих начал было романтическое начало их поэзии.

Летом 1827 года Полежаев самовольно оставил полк и направился в С.-Петербург в надежде на «исходатайствование ему высочайшего милосердия в отношении к его службе и даже увольнения от оной». Однако намерениям Полежаева было не суждено сбыться: его поймали, возвратили в полк и предали военному суду, лишили личного дворянства и разжаловали в рядовые.

Беда следовала за бедой. Имя Полежаева зафигурировало в деле братьев Критских, арестованных в Москве в ночь на 15 августа. А в мае 1828 года начинается новое военно-судное дело Полежаева, обвиняемого в том, что он вернулся в казармы с опозданием, в нетрезвом состоянии и при этом отвечал фельдфебелю бранью. Снова арест, гауптвахта, солдатская тюрьма. Полежаеву грозило прогнание сквозь строй шпицрутенами, что было равносильно смертной казни. Но случилось что-то непредвиденное, и в формулярном списке Полежаева появляется запись: «...в уважение весьма молодых лет вменяется в наказание долговременное содержание под арестом, прощен без наказания с переводом в Московский полк», который должен был быть направлен на Кавказ. У поэта рождаются строки отчаяния:

Земля, раскрой несытую утробу,
Горящей Этной протечи
И, бурный вихрь, тоску мою и злобу
И память с пеплом развлеки!

«Ожесточенный», 1828

Вся прошедшая недолгая жизнь вдруг получает мрачную окраску — безысходность заставила поэта посмотреть на мир совсем иными глазами, уже не глазами весельчака и заводилы, каковым был герой «Сашки»:

Взгляну с улыбкою печальной
На этот мир, на этот дом,
Где я был с счастьем незнаком,
Где я, как факел погребальный,
Горел в безмолвии ночном.

«Осужденный», 1828

Однако не стоит усматривать в отчаянии и безысходных страданиях Полежаева главный и единственный источник своеобразия его поэзии трагического периода жизни. Это обеднило бы его талант и незаслуженно ограничило бы широту его поэтического взгляда.

Исповедальный характер стихов Полежаева был определен не только условиями жизни поэта, но и литературными пристрастиями, особым романтическим настроением души (увлечение поэзией Байрона, Гюго, Ла-

мартина, Жуковского) — в противном случае был бы только бесплодный срыв отчаявшегося человека. Непредвиденный поворот жизни, исключительность судьбы Полежаева словно реализовали в себе поэтический идеал романтиков — образ заточенного в неволе, страдающего, рвущегося на свободу и жаждающего вольных странствий героя. В стихах поэта все чаще звучат мотивы смерти, мелькают образы теней, навеянные не только трагизмом положения автора, но и знакомыми ему, а в сложившихся жизненных обстоятельствах ставшими особенно близкими романтическими литературными образами. Литературно-отвлеченна первая часть «Живого мертвеца» (1828), «тени» возникают в мирском пейзаже во время благостных мечтаний в «Кремлевском саде» (1829), романтически-обобщенным мировосприятием пронизаны «Звезда» (1829) и, казалось бы, шутовское стихотворение «Табак» (1829). При этом романтические настроения и образы в стихах Полежаева органично соседствуют с откровенно-реалистическими картинками, с искренними, реалистически выраженными чувствами; рядом с отвлеченными и фантастическими появляются отчаянные исповедальные строки:

Мне мир — пустыня, гроб — чертог!
Союду в него без сожаленья,
И пусть за миг ожесточенья
Самоубийцу судит бог!

«Живой мертвец», 1828

В Полежаеве-поэте поражает умение сочетать в пределах одного произведения выразительные средства, кажущиеся несовместимыми: классические размеры стиха соседствуют со свободной ритмикой, возвышенные, нереальные романтические образы мирно уживаются с неприукрашенной грубоватой жизненностью картин и ситуаций. Удивительно органично возникают в поэзии Полежаева элементы будущего, нашего дня, что делает ее особенно близкой сегодняшнему читателю. Уже в стихах Полежаева мы встречаем образ человека-«автомата», предчувствие урбанизации и еще далекий, неясный страх перед ее последствиями, перед бездушной силой «машин», поразительный для первой половины XIX века образ «стоэтажной» волны.

Глубоко по смыслу сравнение Белинским Полежаева с кометой. В этом сравнении есть важное внутреннее содержание. Полежаев как поэт был поистине кометой на небосклоне русской поэзии. Он не был украшением, светилом или яркой звездой, излучающей постоянный благородный или ослепительный свет, — его произведения подобны отдельным вспышкам промчавшейся кометы, но эти вспышки — следствие ее интенсивной, сильной внутренней жизни, скрытой от человеческих глаз. Эти вспышки не всплески постоянного света, а органичные порождения такой страстной, бурной и трагичной в своих поворотах жизни, каковую судьба уготовила Полежаеву. Отсюда и постоянные контрасты, и великое добромудрие, и великодушие в отношении к тому лихолетию, которым была полна жизнь поэта.

В феврале 1829 года в составе Московского полка Полежаев был направлен на Кавказ. Но перед отправлением на юг, насколько можно

судить по резко меняющемуся тону сочинений поэта, Полежаев пользовался некоторой свободой. Он, как узник, вырвавшийся из заточения, радуется по-прежнему, как в университетские годы, жизнелюбив, его влекут места былых развлечений, вспоминаются друзья. Возвращение в «свободную» Москву поэт расценивает как «пир, воздушный, легкий и духовный» («Кремлевский сад»). Безысходное трагическое звучание стихов сменяется аскетическим спокойствием, ироническим отношением к своей судьбе, в восприятии мира высвечивается здоровый юмор. В сочинениях Полежаева появляются легкость стиха и незадачливо-шутливое содержание («Букет», «Наденьке»...).

Новые впечатления, которые Полежаев жадно впитывал на юге России, на Кавказе, свободно выливались в форму своеобразных поэтических наблюдений. Для поэзии Полежаева вообще характерны некабинетные свойства: его муза всегда была верной соратницей жизни, свидетельницей самых грозных и самых веселых ее сторон, она была желанной (печальной и радостной) спутницей судьбы поэта. Поэтому в стихах Полежаева возникает удивительная гармония смелого реализма и утонченного поэтического чувства, беспощадная открытость восприятия жестких сторон жизни. Романтичны образы Кубани («Ночь на Кубани», 1830), а так называемые кавказские поэмы («Эрпели», 1830, и «Чир-Юрт», 1832) ярко реалистичны, несмотря на экзотичность впечатлений, полученных автором. При этом поэт меньше всего заботится о форме стиха и в одной из поэм прямо указывает:

Но правил тяжкого ума,
Но правил чтенья и письма
Я не терплю, я ненавижу
И, что забавнее всего,
Не видел прежде и не вижу
Большой утраты от того.

Полежаев отвергает холодное рассудочное формотворчество, ему чужды вымученная, искусственная правильность размера или рифмы, бездуховность содержания. По искренности и правдоподобию чувств, неприкрытой реалистичности изображения колоритной и необычной для поэта действительности, полной опасностей и героики буден, в русской поэзии вряд ли что можно поставить выше полежаевских кавказских поэм. По характеру написания они чем-то напоминают путевые заметки в стихах. Посылая «Чир-Юрт» своему другу А. П. Лозовскому, Полежаев сообщал ему: «Любезный друг!.. Среди ежедневных стычек и сражений при разных местах в Чечне, в шуму лагеря, под кровом одинокой палатки, в 12 и 15 градусов мороза, на снегу, воспламенял я воображение свое подвигами прошедшей битвы, достойной примечания в летописях Кавказа, и в 11 дней написал посылаемый к тебе «Чир-Юрт». Конечно, кавказские поэмы Полежаева ценны не только живостью и достоверностью свидетельства — непревзойденно их поэтическое качество.

После более чем трехлетнего пребывания на Кавказе (за проявленную храбрость Полежаев был вновь произведен в унтер-офицеры) в районе крепости Грозной поэт был переведен в один из полков, расположенный

недалеко от Москвы. «Опять она, опять Москва!» — радостно вырывается из души поэта.

Непосредственное участие в боевых походах, храбрость русских воинов, увиденная Полежаевым воочию, всколыхнули в сердце поэта великое чувство патриотизма, а возвращение в Москву вызвало их новый прилив. Появляется стихотворение «Иван Великий» (1833), представляющее собой размышление поэта-гражданина о прошлой и современной ему судьбе родины, о величии и значении Москвы и ее Кремля в истории русской земли. Образ колокольни Ивана Великого сливается с обобщающим образом Великого Ивана:

Его набат и тихий звон
Всегда приятны патриоту.

Примечательна концовка этого стихотворения, где наиболее четко и прямо выражена позиция Полежаева, истинного сына своей Отчизны:

Итак, хвала тебе, хвала,
Живи, цветы, Иван Кремлевский,
И, утешая слух московский,
Гуди во все колокола!..

До сих пор в должной мере не оценено гражданское начало творчества Полежаева. Одним из упреков, предъявленных Белинским к Полежаеву, явилось то, что будто «в его поэзии мало содержания». «Талант Полежаева,— писал критик,— мог бы сделаться бессмертным, если бы воспитался на плодотворной почве исторического мирозерцания». Однако еще поэма «Сашка» показала зрелость «исторического мирозерцания» Полежаева. Уже в этом полушутливом произведении чувствуется сила ума поэта, способного в частных деталях и явлениях подметить их историческую важность, дать им точную социальную оценку. По этой поэме мы можем так же судить о пограничной эпохе середины 20-х годов прошлого столетия, о быте, нравах и помыслах московского студенчества и молодежи той поры, как и по известным произведениям Пушкина и Лермонтова. И может быть, не случайно, что своей поэмой, несмотря на юношескую запальчивость ее содержания, мимолетность и мгновенность наблюдений, Полежаев даже опередил во времени и как бы предвосхитил необыкновенную эпическую широту пушкинского романа. И даже в кавказских поэмах, которые по способу написания тяготеют более к эпистолярному жанру (непосредственность, поспешность записи впечатлений), чем к хорошо продуманной форме поэмы, мы встречаем не только сугубо личные наблюдения и размышления солдата русской армии, но и чувствуем историческую широту мировосприятия. Именно это позволяет отнести кавказские поэмы Полежаева к лучшим произведениям русской классической литературы о Кавказе. Верно замечание А. Н. Пыпина о том, что Полежаев — «поэт по преимуществу, почти исключительно личный, но вместе с тем его поэзия есть исторический памятник эпохи, исполненный глубокого и мрачного смысла». Этим определялась и особая популярность Полежаева в студенческой среде своего

времени. Без сомнения, эта слава им была обретена не участием в веселых кутежах и похождениях, не «барковщиной» некоторых стихов, а именно острым выражением духа своего времени, зрелостью «исторического мирозерцания». И видимо, неспроста имя Полежаева фигурировало в доносах тайной полиции, возникало в связи с делом братьев Критских и других лиц, выступавших против самодержавия. И уж совсем не случайно царь «удостаивает аудиенции» именно А. И. Полежаева, а не какого-то другого студента и отправляет его после беседы в военную службу.

«Историческое мирозерцание» Полежаева корнями уходит и в ярко выраженные русские национальные черты характера поэта. Оно определяется сыновьей привязанностью к родной Москве, любовью к русской народной культуре, зрелым чувством патриотизма.

Поэтические образы Полежаева глубоко национальны, они берут истоки в народном творчестве, в его сказочных мотивах и сюжетах, а иногда и непосредственно переплетаются с образами русского фольклора. В цикле «Песни» (1830—1831), в стихотворениях «Баю-баюшки-баю» (1834), «Русская песня» (1835—1836) поэт широко использует выразительные средства народной поэзии («гроза-меч», «копье-огонь», «стрелаконь», «доля-долюшка железная», «со бела со лица» и т. п.), мелодику русской песни:

Расступись, расступись,
Мать — сыра земля!
Прекратись, прекратись,
Жизнь-тоска моя!

Многие стихи Полежаева со временем были положены на музыку. Так, к «Русской песне» музыка была написана А. Варламовым, И. Бибиным, П. Сокальским, поистине народной песней стал «Сарафанчик», музыку к которому сочинили А. Гурилев и А. Алябьев...

Фольклорные мотивы и образы в поэзии Полежаева причудливо переключаются с реальностью картин и переживаний («Сон девушки»), с открытым изображением действительности («Демон вдохновения»). Поэзия Полежаева по духу и настроению во многом оказывается родственной пушкинской. И видимо, не случайно, не случайно в стихотворениях Полежаева возникают постоянные ассоциации со строками известных стихов Пушкина. Тень Пушкина возникает в «Осужденном» и «К друзьям», в «Отчаянии» и «Тюрьме», в поэмах «Эрпели» и «Чир-Юрт». Кажущаяся грубоватой лексика некоторых произведений Полежаева в какой-то мере подготовлена «Братьями-разбойниками» Пушкина. Предлагая для опубликования отрывок из «Братьев-разбойников», Пушкин писал Бестужеву: «Если отечественные звуки: харчевня, кнут, острог — не напугают нежных ушей читательниц «Полярной звезды», то напечатай его». Строки из этой пушкинской поэмы не раз использовались Полежаевым в качестве эпиграфов к своим произведениям. Не случайно и присутствие в сочинениях Полежаева непосредственных цитат из сочинений Пушкина и Жуковского как образцов русской поэзии. Наконец, высшей данью уважения к великому русскому поэту станет «Венок на гроб Пушкина», написанный

Полежаевым 2 марта 1837 года. Среди откликов на трагическую гибель Пушкина это произведение по праву стоит в одном ряду со «Смертью поэта» Лермонтова.

Несмотря на тяготы буден, лишения и обстоятельства, невыносимые для духовно богатого, одаренного и творческого человека, каковым был Полежаев, поэт непреклонно оставался верным своим внутренним принципам, высоким нравственным идеалам. Это и определило силу поэзии Полежаева, идущую от лучших и коренных традиций русской литературы, ее глубоко нравственное начало и искренность выраженного чувства, правдивость страстей. Даже при некоторой ветрености, легкости поведения в университетские годы, при пылкости и страстной увлеченности природы Полежаев обладал цельностью и чистотой чувства. При огромном круге знакомых и легкости общения у Полежаева было много друзей, которые его любили и обожали и которыми он умел восхищаться; но выше всего поэт ценил дружбу А. П. Лозовского. Полежаев, насколько известно, встретил только одну девушку, к которой испытал сильное чувство привязанности, ею была Е. И. Бибикова.

В 1833 году Полежаев был переведен из Московского в Тарутинский егерский полк, который стоял в Зарайске. Там судьба свела поэта с отставным жандармским полковником И. П. Бибиковым, тем самым Бибиковым, который в 1826 году направил в Третье отделение донос «О Московском университете» и фактически предрешил печальную жизнь начинающего поэта. По непонятным причинам Бибиков теперь стремился всячески облегчить участь Полежаева и, исхлопотав ему неофициальный отпуск, привез поэта летом 1834 года к себе в подмосковное село Ильинское, где Полежаев провел две недели.

В Ильинском Полежаев познакомился с дочерью полковника Е. И. Бибиковой. После скитаний и лишений, пройдя сквозь суровую холодность и жестокость жизни, поэт оказался в семейном уюте, почувствовал теплое и заботливое отношение к себе. Он подружился с Бибиковой, умной и незаурядной девушкой. В Ильинском она нарисовала акварельный портрет Полежаева, к которому поэт сделал надпись:

Судьба меня в младенчестве убила!
Не знал я жизни тридцать лет,
Но ваша кисть мне вдруг проговорила:
«Восстань из тьмы, живи, поэт!»
И расцвела холодная могила,
И я опять увидел свет...

Полежаева полюбили в Ильинском. Он поразил всех простотой общения, откровенностью. Е. И. Бибикова позже вспоминала: «Во время прогулок братья ни на шаг не отходили от Полежаева. Мы все жадно прислушивались к его рассказам. Он говорил о Кавказе, о набегах чеченцев, о своих походах, о том, как он с товарищами-солдатами на плечах перетаскивал через горы тяжелые орудия, пушки, а между тем направленные на них из-за скал меткие пули черкесов наверняка выбирали свои жертвы. Он рассказывал просто, без хвастовства, без напыщенности, не бил на эффект, и каждое слово дышало правдой и умом. А между строк сколько

слышалось невысказанных страданий, лишений, горя...» Как чувствуется здесь автор «Эрпели», «Чир-Юрта», «Гременчугского кладбища»! И еще одну существенную черту Полежаева отметила Е. И. Бибикова в своих воспоминаниях: «Полежаев хотя положительно терпел нищету, но был до крайности горд и деликатен в денежных делах. Отец долго не мог его уломать и уговорить принять от него пособие. Честность его доходила до щепетильности».

Последние годы жизни Полежаева связаны с Москвой. Здесь он знакомится с Герценом и Огаревым. По-прежнему поэт остается опальным. Несмотря на ходатайство И. П. Бибикова, положительные отзывы командования Первой армии и даже содействие Бенкендорфа, Николай I повелел «производством унтер-офицера Полежаева в прапорщики повременить». Дело в том, что еще в начале 1829 года агентом Шервудом в Третье отделение был подан донос «О Московском университете и о стихах, приписываемых студенту Полежаеву», который в числе других документов был представлен царю осенью 1834 года, когда велись ходатайства о производстве Полежаева в офицерское звание. Этот донос, безусловно, оживил в памяти государя историю с поэмой «Сашка».

Безуспешными оказываются и попытки издания новых сборников стихов. Несмотря на мрачные настроения, посещающие душу Полежаева, творческая деятельность его активизируется: поэт пишет на удивление жизнелюбивые, полные юмора и доброй иронии стихи. Среди них особо выделяется поэма «Царь охоты», сочиненная после посещения весной 1837 года своего университетского друга Василия Алексеевича Бурцева под Муромом и представляющая собой веселые шуточные картины из жизни дружеского кружка охотников.

Трагично завершение жизни Полежаева. В настроении поэта начинается неожиданный срыв. Летом 1837 года Полежаев самовольно покинул полк, пропил амуницию: За это он был подвергнут жестоким телесным наказаниям. Новые душевные переживания не прошли бесследно. Осенью Полежаев заболел чахоткой, попал в военный госпиталь, где тихо умирал, забытый друзьями, отдаленный от родственников, с которыми давно уже не поддерживал близких отношений. Смерть застала его одиноким, и умер он незаслуженно безвестно. «1838 года января 16 дня,— было записано в метрическую книгу госпитальной церкви,— Тарутинского полка прапорщик Александр Полежаев от чахотки умер и священником Петром Магницким на Семеновском кладбище погребен». Полежаев был похоронен друзьями. «Когда один из друзей его,— вспоминал Герцен,— явился просить тело для погребения, никто не знал, где оно... Наконец, он нашел в подвале труп бедного Полежаева — он валялся под другими, крысы объели ему одну ногу». Судьба и здесь была безжалостна к Полежаеву. Вскоре и могила его затерялась. Словно сбылись предчувствия поэта, высказанные им еще в 1828 году:

И нет ни камня, ни креста,
Ни огородного шеста

Над гробом узника тюрьмы —
Жильца ничтожества и тьмы...

Поистине тихо и как-то по-русски стыдливо-скромно завершилась жизнь буйного Полежаева.

Нам осталась поэзия Полежаева — исповедь, исходящая из сердца, но не от холодной рассудочности ума. При этом некоторая недоработанность сочинений была неизбежной, так как судьба не позволяла поэту создавать варианты, доводить первородство проявившихся страстей до отточенности совершенной формы — времени на такую доработку не было отведено. Трагическая недоконченность творческой судьбы поэта оправдывает скоропись отдельных стихов, поспешность их рождения и требует от нас великодушного снисхождения к той торопливости появления некоторых стихотворений, не успевших выкристаллизоваться в ту органичную форму, которая присуща его лучшим творениям.

Однако целостность творческого дарования Полежаева определяется не теми не доведенными до совершенства стихами, не теми недоконченными каркасами, наспех им возведенными, а лучшими произведениями, в которых в полную силу проявилось величие, глубина и непревзойденность его бурной, монолитной по эстетическим и нравственным принципам художественной натуры, натуры гениально талантливой, которая говорила полным голосом, спешила жить, а также и творить.

Необыкновенна широта поэтических устремлений Полежаева: он был не только автором самобытных стихов, но, как справедливо было замечено, «если бы в нем умер оригинальный поэт, то все-таки уцелел бы замечательнейший поэт-переводчик, который одними переводами мог бы принести отечественной словесности большую пользу» (Е. А. Бобров); в его творчестве явно зрели замыслы, требующие драматургической формы и в отдельных произведениях частично уже получившие воплощение. И всюду мы наблюдаем силу таланта, завершенность взглядов и блестящие образцы: поэмы, песни, стихотворения, переводы... Вызывает уважение и та легкость разговора с современными ему гениями, ярким примером чему является постоянный духовный и открытый диалог, разговор на равных с А. С. Пушкиным, которого он называл и «народной гордости кумиром», и «славным мужем незабвенных песнопений», и «миллионами любимым, державы северной Баяном».

По духу, по силе таланта и самобытности творчества Полежаев, безусловно, является одним из ярчайших поэтов пушкинской поры. В то же время он стоит особняком в нашей литературе в силу трагичности судьбы и необыкновенной искренности творчества, воплотившего в себе как бы перекресток магистральных путей русской поэзии 20—30-х годов прошлого столетия, перекресток, на котором сошлись реализм и народность Пушкина с романтизмом и демоническим началом поэзии Лермонтова, новаторство русского перевода с теми восходами песенной, широко демократичной и одновременно глубоко драматической лирики, которые с полной силой разовьются в поэзии Кольцова и Некрасова. На этом перекрестке мы видим и начало той улочки, которая прямо ведет к характерным чертам поэзии XIX века — к новой форме (в «лесенке» и ритмике «Песни погибающего пловца», 1828, предвосхищается поэтика Маяковского), к образам, близким нашему жесткому, «индустриальному» времени. Здесь романтическая экзотика и беспощадный реализм, городские мотивы и патриархальные образы давней старины, философская и патриотическая лирика, незаурядный ум и порывы чувств...

К сожалению, Полежаев мало придавал значения сохранению своего поэтического наследия. Не позаботились об этом и окружающие его. С Полежаевым не только судьба поступила незаслуженно жестоко, но и время было беспощадным к тому бесценному, что этот гениальный русский поэт оставил после себя. В 1851 году А. Ф. Смирдин подготовил к изданию пятитомное собрание сочинений А. И. Полежаева. По цензурным соображениям этому изданию не суждено было появиться на свет. А к концу века от творческого наследия поэта осталось так мало, что теперь все умещается в один том (многое было уничтожено из-за страха перед возможными осложнениями, связанными со скандальностью фигуры покойного поэта, многое исчезло по неизвестным, скорее всего случайным причинам). Но и сохранившиеся поэтические творения и переводы дают достаточно полное представление о силе таланта поэта, определяют то почетное место, которое по достоинству должно быть отведено Александру Ивановичу Полежаеву в русской классической литературе.

АЛЕКСАНДР ПОЛЕЖАЕВ

ОСУЖДЕННЫЙ

Нас было двое — брат и я...

А. П (у ш к и н)

I

Я осужден! К позорной казни
Меня закон приговорил!
Но я печальный мрак могил
На плахе встречу без боязни,—
Окончу дни мои, как жил!

II

К чему раскаянье и слезы
Перед бесчувственной толпой,
Когда назначено судьбой
Мне слышать вопли, и угрозы,
И гул проклятий за собой?

III

Давно душой моей мятежной
Какой-то демон овладел,
И я зловещий мой удел,
Неотразимый, неизбежный,
В дали туманной усмотрел!..

IV

Не розы светлого Пафбса,
Не ласки гурий в тишине,

Не искры яхонта в вине,—
Но смерть, секира и колеса
Всегда мне грезились во сне!

V

Меня постигла дума эта
И ознакомилась со мной,
Как холод с южною весной
Или фантазия поэта
С унылой северной луной!

VI

Мои утраченные годы
Текли, как бурные ручьи,
Которых мутные струи
Не серебрят, а пенят воды
На лоне илистой земли.

VII

Они рвались, они бежали
К неверной цели без препон;
Но быстрый бег остановлен,
И мне размах холодной стали
Готовит праведный закон.

Взойдет она, взойдет, как прежде,
 Завтра ранняя звезда,—
 Проснется неба красота,—
 Но я!.. Я небу и надежде
 Скажу: «Простите навсегда!»

IX

Взгляну с улыбкою печальной
 На этот мир, на этот дом,
 Где я был с счастьем незнаком,
 Где я, как факел погребальный,
 Горел в безмолвии ночном.

КРЕМЛЕВСКИЙ САД

Люблю я позднею порой,
 Когда умолкнет гул раскатный
 И шум докучный городской,
 Досуг невинный и приятный
 Под сводом неба провождать;
 Люблю задумчиво питать
 Мои беспечные мечтанья
 Вкруг стен кремлевских вековых,
 Под тенью липок молодых
 И пить весны очарованье
 В ароматических цветах,
 В красе аллей разнообразных,
 В блестящих зелени кустах.
 Тогда, краса ленивцев праздных,
 Один, не занятый никем,
 Смотри и ничего не видя,
 И, как султан, на лавке сидя,
 Я созидаю свой эдем
 В смешных и странных помышленьях,
 Мечтаю, грежу, как во сне,

ГРУСТЬ

На пиру у жизни шумной,
 В царстве юной красоты,
 Рвал я с жадностью безумной
 Благовонные цветы.
 Много чувства, много жизни

Где, может быть, суровой доле
 Я чем-то свыше обречен!
 Где я страстями заклею,—
 Где чем-то свыше, поневоле,
 Я был на время заключен!

XI

Где я... Но что?.. Толпа народа
 Уже кипит на площади...
 Я слышу: «Узник, выходи!»
 Готов — иду!.. Прости, природа,
 Палач, на казнь меня веди!..

1828 год

Гуляю в выпренних селеньях —
 На солнце, небу и луне;
 Преображаюсь в полубога,
 Сужу решительно и строго
 Мирские бредни, целый мир,
 Дарю счастье миллионам...
 (Весы правдивые законом)
 И между тем, пока мой пир,
 Воздушный, легкий и духовный,
 Приемлет всю свою красу,
 И я себя перенесу
 Гораздо дальше подмосковной,—
 Плывая, как лебедь, в небесах,
 Луна сребрит седые тучи;
 Полночный ветер на кустах
 Едва колышет лист зыбучий;
 И в тишине вокруг меня
 Мелькают тени проходящих,
 Как тени пасмурного дня,
 Как проблески огней блудящих.

1829 год

Я роскошно потерял
 И душевной укоризны,
 Может быть, не избежал.
 Отчего ж не с сожаленьем,
 Отчего — скажите мне,—

Но с невольным восхищеньем
Вспомнил я о старине?
Отчего же локон черный,
Этот локон смоляной,
День и ночь, как дух упорный,
Все мелькает предо мной?
Отчего, как в полдень ясный
Голубые небеса,
Мне таинственно прекрасны
Эти черные глаза?
Почему же голос сладкий,
Этот голос неземной,
Льется в душу мне украдкой

Гармонической волной?
Что тревожит дух унылый,
Манит к счастью меня?
Ах, не вспыхнет над могилой
Искра прежнего огня!

Отлетели заблуждений
Невозвратные рои —
И я мертв для наслаждений,
И угас я для любви!
Сердце ищет, сердце просит
После бури уголка;
Но мольбы его разносит
Беспощадная тоска!

1834 год

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Долго ль будет вам без умолку идти,
Проливные, безотрадные дожди?
Долго ль будет вам увлаживать поля?
Осушится ль скоро мать — сыра земля?
Тихий ветер свежий воздух
растворит —

И в дуброве соловей заголосит.
И придет ко мне, мила и хороша,
Юный друг мой, красна-девица душа!

Соловей мой, соловей,
Ты от бури и дождей,
Ты от пасмурных небес
Улетел в дремучий лес.
Ты не свищешь, не поешь,
Солнца ясного ты ждешь!

Дева, девица моя,
Ты от бури и дождя
И печальна и грустна,
В печаль схоронена!
К другу милому нейдешь,
Солнца ясного ты ждешь!

Перестаньте же без умолку идти,
Проливные, безотрадные дожди!
Дайте ведру, дайте солнцу проглянуть,
Дайте сердцу после горя отдохнуть!
Пусть, как прежде, — и прекрасна

и пышна,

Воцарится благотворная весна,
Разольется в звонкой песне соловей,
И я снова, сладострастней и звучней,
Расцелую очи девицы моей.

1835—1836 гг.

* * *

Когда душа перекалится в камень,
Когда глаза точить не станут слез,
Когда замрет сердечный пламень
И будут сны без грез,
Тогда возьму я пулю боевую,
Три раза шомполом в зев смерти
вколочу

И песнь последнюю земную
На лире пробренчу.

И вылью мозг кровавый на прощанье,
Укором мертвого мечь миру я
пошлю

И предмогильное страданье
Терпеньем просверлю.
Когда же в ночь засмертную, тоскую
Среди могил, явлюсь к вам наяву:
Тогда вам истину скажу я,
Как, бедный, там живу.

1836 год

ПИТЕРСКИЙ ТРУБАДУР

«Свободный трубадур питерский» — так назвал Петра Потемкина А. Блок. Определение не только точное, но и прозорливое, ибо в ту пору, когда это было сказано, оригинальное дарование поэта по-настоящему еще не раскрылось. Не лишено интереса и то, что Александр Блок, проведя сравнительный анализ двух поэтов — С. Соловьева и П. Потемкина, — отдал явное предпочтение последнему, а не своему соратнику по символизму. Это тем более удивительно, что на поэтов журнала «Сатирикон», в котором Потемкин неизменно сотрудничал, декаденты и прочие жрецы чистого искусства смотрели свысока, не считая их достойными звания поэта. Для Потемкина было сделано исключение.

Когда читаешь стихи П. Потемкина, может показаться, что писались они двумя абсолютно несхожими людьми. Один — простолюдин, чувствующий себя как рыба в воде в городской толчее, на рабочей окраине, среди народных гуляний, знающий толк в метком, складном, фасонистом слове — недаром он вместе со своим коллегой по сатирическому цеху поэтом Василием Князевым одно время занимался собиранием частушек. Другой — столичный франт, типичный представитель богемы, без которого невозможно представить знаменитую «Бродячую Собаку», как, впрочем, и его без нее. Не случайно мемуаристы, воскрешая томительную и горячечную, расплавленную остроумием атмосферу литературно-художественных сборищ, не могут обойтись без длинной, невольной вызывающей улыбку, характерной фигуры Петра Потемкина...

Так к какому же миру принадлежал Потемкин: миру повседневности, мещанского быта или упадочному миру литературных салонов, подвальчиков, вернисажей? Право, разделить обе эти ипостаси невозможно, да и не нужно: поэт жил на грани, был везде своим, общим любимцем и баловнем. Он воистину любил жизнь во всех ее проявлениях, так что подчас ловишь себя на мысли, что, гуляя праздный, писал он не для читателей, а только для своей возлюбленной — шутя, непринужденно, даже небрежно. Однако эта внешняя необязательность и утрированный дилетантизм потемкинских стиха явились принципиально новой ступенью в раскрепощении стихотворной формы, преобразованной позднее в ритмы Маяковского и «Двенадцати» Блока. Стихи Потемкина на журнальных страницах узнаваемы с первого взгляда — по естественному

дыханию строки, по разговорной непосредственности интонации — даже если они печатались только под инициалами П. П. П. или вовсе без подписи. Его ловкие, незатертые рифмы запоминаются легко, как детские считалки:

У моей подружки Кати
Пианино на прокате,
У моей подружки Фени
Лисья шуба из Тюмени...

«Герань» — книга стихов П. Потемкина, обряженная в цветастый ситчик, уже одним своим веселым, вызывающим видом выделялась на общем фоне поэтической продукции. Герань — для поэта была не признаком мещанства, а символом народной эстетики, национального уклада, любви... П. Потемкин как бы взял на себя миссию быть певцом города, и не просто города, а Петербурга начала XX века — потемкинского Питера — с его кафешантанами, охранками, конками, гуляниями писарей по Дворцовой набережной. Своим любопытным взглядом он дал возможность заново увидеть то, что было у всех на виду, давно примелькалось.

Подкупающее обаяние музыки Потемкина в неподражаемом сочетании простодушия и иронии, причем иронии не злой, а шутовой. Не эта ли склонность к шутке, гротеску, шаржу привела его к театральной миниатюре? П. Потемкин стоит у истоков «Кривого Зеркала» и «Летучей Мыши» — блиставших некогда театриков, «где шутовство было украшено изяществом, смелость и простор замыслов не расставались с грацией, живая, не колкая карикатура была весела, веселость остроумна, остроумие легко, а легкость очаровательна». Артистизм и богатство природы Потемкина проявились в разных областях: он и сам не был чужд сцене — играл в любительских спектаклях, снимался в кинематографе...

Заметим, что возможна и обратная связь: не склонность ли к лицедейству заставила поэта заговорить в своих стихах от имени ларечника, старьевщика, парикмахера, панельной красотки?.. Но в отличие от Саши Черного, его собрата по «Сатирикону», избравшего маску интеллигента, Потемкин многолик и искренне увлечен своими персонажами, которым вскоре, увы, пришлось, исчезнуть со сцены жизни...

Остается добавить, что его жизнерадостные, полнозвучные стихи, переизданные в Берлине в 1923 году (сборник «Отцветшая герань»), приобрели на чужбине ностальгический оттенок и привкус полыни:

В утреннем рождающемся блеске
Солнечная трепыхалась рань...
На кисейном фоне занавески
Расцветала алая герань.
Сердце жило, кто его осудит:
Заплатило злу и благу дань...
Сердцу мило то, чего не будет,
То, что было — русская герань.

«Беспечный и бескорыстный, он очень был поэтом не только в своих кудрявых, звонких стихах. Его страницы — отражение того странного, не-

повторимого душевного строя, который в каждом движении, в каждой мысли, воплощенной в стихе и не воплощенной, определяется старинным словом «поэт» — так сказал о П. Потемкине Саша Черный, провожая его в последний путь. Умер Потемкин рано — на сороковом году жизни, в 1926 году, в Париже. Пожалуй, лучшее, что было написано о Петре Потемкине, — это статья Саши Черного «Русский палисадник» и его же предисловие к посмертно изданному «Избранным страницам» — вдохновенная прихотливая проза поэта, не скрывающего своей симпатии и пристрастия к автору «Герани». Современным читателям стихи Потемкина известны по сборнику «Поэты «Сатирикона», изданному в 1966 году в «Библиотеке поэта», и настоящая публикация стихов Потемкина и эссе о нем Саши Черного позволят воскресить эту малоизвестную страницу русской поэзии.

Анатолий ИВАНОВ

САША ЧЕРНЫЙ

О ПЕТРЕ ПОТЕМКИНЕ

«Смешная любовь» — так называлась первая книга стихов П. Потемкина, вышедшая в свет в Санкт-Петербурге в 1908 году.

Поэту было тогда 22 года. В первой книге обычно — этюды, гаммы. Юность пробует голос и нередко срывается. Но петербургский студент-словесник, похожий скорее на лицеиста, изящный и сдержанный, уже в этой ранней книге обнаружил присущие его лире свойства: эластичную плавность стиха, изысканное мастерство сложного ритма, прерывистый перебой строк, четко отвечающий внутреннему волнению.

В первой книге Потемкина порой звучала та театральная манерность, капризная и грациозная, которая привела потом поэта к одному из любимых им видов творчества — к театральной миниатюре. Томящаяся среди петербургских ночных «серых улиц» и «слепых домов» муза создавала из тумана и мглы миражный мир жестяных любовников, парикмахерских кукол и трагических горбунов.

Петербург в «Смешной любви» не тот, который мы знаем по «Герани». Поэт не отошел еще от своих личных переживаний, юность позирует перед собой, порой словно играет болью, притворяется опытнее, искушеннее самой себя, и Петербург только мрачная декорация в лирической пьесе, главным действующим лицом которой является автор.

«Герань» — вторая лирическая ступень, столь далекая от «Смешной любви», словно ее другая рука писала. Автор шире раскрыл глаза и увидел другой Петербург — живой, теплый, русский. Гримаса боли и разочарования исчезла, «я» ступевалось. Вокруг и рядом в заурядной столочной повседневности, на панели и в петербургских скверах, во дворах, на каналах и на верхушке конок поэт подсмотрел красочную и краснощекую народную жизнь и весело и любовно заполнил ею круг «Герани».

Ничего от Кольцова, ничего от Никитина. Ничего от гражданских

мотивов и общеобязательной любви к младшему дворнику. Скорее украшенная сложным ритмическим узором, далекая линия, идущая от некоторых веселых и беспечных страниц Некрасова: от «Коробейников», от «Генерала Топтыгина».

Лукавая веселость музыки Потемкина, необычное соединение двух начал — лирического и буднично-забавного, создали редкий по своеобразию цикл рисунков-стихотворений, темы которых навеяны населением петербургских нижних этажей. Дворник, городской, извозчик, белошвейка, татарин-старьевщик, приказчик живорыбного садка, подвальная прачка — незаметные, окружающие нас на каждом шагу, о сочной бытовой привлекательности которых мы и не догадывались.

И самый петербургский пейзаж, вызывающий в памяти штампованный образ неба, цвета солдатской шинели, навозного снега и безнадежного кислого дождя — в потемкинских стихах проясняется и голубеет, овеивается молодым весенним ветром с островов, гамом веселой вербы, гомоном воробьев в Александровском саду, гулким раскатом пасхальных колоколов. Точно сама молодость под руку с поэтом беспечно кружилась по петербургским широким проспектам, смеясь, заглядывая ему в глаза на площадке трамвая, влюбляла в каждое голубиное крыло на шляпе случайной прохожей.

Если вспомнить — русская поэзия в последнее десятилетие перед войной была лишь условно русской. Художественная проза была несравненно сильнее насыщена национальным содержанием, но стихи — перелистайте за отсутствием полных собраний любую нашу предвоенную антологию, — не покажется ли большинство страниц переведенными с какого-то общеевропейского символического языка на русский?

Исключения редки. Вспоминаются великолепные русские пейзажи Бунина, от которых поэт перешел затем к сухой и неподвижной экзотике Востока, псевдославянско-псевдомифотворчество Городецкого («Ярь»), клюевская декоративная, немного сусальная деревня, «Поповна» Андрея Белого, неожиданная у этого темного поэта лаковая и радостная, подлинно русская страница, вязкие, словно пропитанные дегтем, натуралистические вирши Вл. Нарбута. Кажется, все.

О причинах этого сложного явления здесь говорить не будем: это тема, которой может быть посвящена целая книга.

Имя недавно ушедшего из мира П. П. Потемкина в связи с затронутой темой привлекает к себе наше особое внимание. Беспечный представитель богемы и изящный сноб, возлюбивший пестрый театральный мирок парикмахерских кукол, горбунов, арлекинов, бесшабашных негров, умел так мастерски и весело вызывать из небытия весь этот забавный антураж европейских кабаре. И вместе с тем он, единственный из всех, создал исполненный своеобразия, грации и лукавства национально-лирический цикл типических персонажей русского города.

Задание скорее живописное, чисто федотовское, нашло свое разрешение в сочной словесной живописи — причем сдержанная юморизация типа никогда не переходила в фарс, в глумление, в карикатуру-пародию, в желание угодить галерке. Военный ли писарь, мальчишка из

мелочной, татарин (халат-халат), дворник и лихач, приказчик из живорыбного садка — казалось бы, такие пресные, повседневные и не лирические натурщики, в зарисовках поэта, сохраняя свои до тонкости схваченные бытовые черты, были обвеяны дыханием подлинного лиризма, влекли к себе, вызывали душевную симпатию и добрую улыбку. Словно примелькавшиеся лица своих близких и родных, каждый видел их сто раз на любом перекрестке, и вот пришел поэт — несколько легких чудесных строк — и превратил валенку, грязную метлу и всклокоченную бороду в румяное пятно городской герани.

Странный поэт. Он ни разу не высек ни одного лавочника за «мещанство», не возмущался петербургскими кафешантанными певицами, не превращал добродушного и заматавшегося околоточного Иванова в кровожадного Вия. Он очень любил жизнь, не требовал, чтобы крапива и чертополох пахли розой, и с большой любовью вычерчивал их четкий и неповторимый рисунок.

Странный поэт. Рабочие на лесах строящегося дома, городская прислуга, мальчишка-подмастерье и прочая так называемая младшая братия никогда не служила ему манекенами для кройки «гражданских» стихов. Меньшая братия не валяется у него в канавах, не проклинает землю и небо, не бьет себя в грудь, она у него почти всегда улыбается, в глазах задор, на щеках румянец. И право же, поэт-художник обнаружил немалую мудрость и такт тем, что дал нам возможность полюбоваться на живых людей во всей полноте их национального здоровья и своеобразия. Не осуждаем же мы за это Кустодиева. Напротив. А потемкинская негражданская бытовая лирика, нимало о том не заботясь, несомненно попутно делала свое доброе дело лучше всякой гражданской. Такова сила художественной правды и бескорыстной ясной жизнерадостности, столь редкой в нашей лирике.

Форма? Без строф, без пауз, слитая в одно лесенка длинных, коротких и совсем коротких строк. Свободный, прерывистый ритм, отчасти родственный ритму немецких «Бретта Лидер» (песни подмостков) начала девятисотых годов. Форма эта под рукой мастера-поэта, как послушная гармоника, растягивалась и сжималась, была исполнена порывистого движения, и всякое прозаическое слово претворялось в ней и радостно звенело.

Напомним вкратце о других сторонах многогранного творчества поэта: о цикле изящных и тонких театральных безделушек, в которых тоже пробивалась русская струя («Катенька», «Платовские казаки в Париже», «Полотеры»), о законченной и подготовленной им к печати антологии чешских поэтов в его переводе, об его многочисленных переводах из романсовой литературы, о круге стихов, вышедших в сборнике «Смешная любовь».

Но основным своеобразным трудом поэта, его художественным подвигом, четким и ярким, останется «Герань», насаженный им русский палисадник, многокрасочная галерея городских типов...

И вот теперь, когда близкий нам Петербург, как и вся старая бытовая Россия, исчезли, — живописная бытовая лирика Потемкина дышит новой неповторимой жизнью: острым ярким отражением столичных будней.

КРАСНАЯ КОФТА

Как блестят под вечер крыши
После быстрого дождя!
Солнце, солнце, взвейся выше,
Что ты меркнешь, заходя?!

Правда, пурпуром Исакий
Ты, прощаясь, облило,
Но сегодня, знает всякий,
Целый день ты не цело...

Серый бархат под домами
Целый день висел и плыл,
И тебя за облаками
Кто-то крепко сторожил...

Дождь прошел, и стало тише
После быстрого дождя..
Солнце, солнце, взвейся выше,
Что ты никнешь, заходя?!

Посвети, а мы с Любашей
В Летний сад гулять пойдём...
Угостимся простоквашей,
Лимонадом и чайком.

У Любаши белозубой
Кффта красненькая есть...

Красной кофточке так люблю
На закате розой цвествь...

Эту кофточку в апреле
Сам я Любе подарил,
Чтоб уста ее не смели
Говорить, что я не мил.

И она ту кофту любит
В воскресенье надевать,
И вдвойне меня голубит,
И идет со мной гулять.

Если солнце ярко светит,
Мы идем, и смотрят все...
Каждый кофточку заметит
И любитесь красе.

И тогда Любаша рада,
Вместе с нею рад и я,
И несносной пыли сада,
И веселью бытия.

А сегодня... Солнце злое,
На меня ты, что ли, зло?
Не понять мне, что такое —
Только вышло — и зашло.



Рис. М. Добужинского

С ГОРЫ

Белы пруды на солнце ярком.
Сквозь редкий частокол стволов
Идем вдвоем озябшим парком,
Под рокот связанных коньков.
Сугробы по бокам дорожки
Пышны, пушисты и мягки.
Рисуют черной тенью рожки
На них опавшие сучки.
Подол твоей любимой шубки
Снежинками посеребрен.
Смеются радостные губки,
И смех их солнцем озарен.
И так забавно, точно мышки,
Снуют носки твоих галош...
Без отдыха, без передышки
Ликуюешь, любишь и идешь.

Вот пришли. Гора большая —
Вышка красная, резная,
А на ней задорный флаг.
Не спеши! Ступеньки круты —
Осторожней! Фу-ты, ну-ты!

Не спеши! Замедли шаг!
Санки ждут. Что конь в испуге,
Не стоят, что лук упруги,
Рвутся в омут головой!
Сели. Санки подтолкнули.
Полетели, потонули,
Захлебнулись синевой!
Докатили. Снова лезем
По ступенькам. Любим, грезим
Веселей и бойче всех.
Снова вниз. Попало что-то
У второго поворота —
Под полозья. Ух! И в снег!..

Идем домой озябшим парком
Сквозь редкий частокол стволов.
Белы пруды на солнце ярком,
Но нам, ей-ей, не до прудов.
Болят царапины до дрожи,
То обернешься, то вздохнешь,—
И уж на мышек не похожи
Носки мелькающих галош.

УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ САД

Терзает уши злой румын,
Тошна его свирель.
У тира толстый господин
Напрасно целит в цель.

Мешает потная спина,
Мешают перья дам.

Повсюду серая волна
Шляп, котелков, панам.

Аплодисменты, вой и стон.
На небе ночь пьяна,
А по бокам со всех сторон
Угрюмая стена.

В КОНКЕ

Барышня в синей шляпке
Не смотрит на меня.
«Musick» на черной папке
Трепещет от огня.
На потолке плакаты
«Шапшал» и «Оттоман»...

Рядом с ней усатый
Гвардейский капитан.
Окно укутал иней...
Бежит узор теней...
Барышня в шляпке синей
Не будет моей!

ЛАРЕЧНИК

Мой ларек у самого канала,
У мосточка (пеший переход).
Я торгую в нем уже без мала
Двадцать первый год.
Сливы, арбузы,
Дыни кургузы,
Шоколад, мармелад,
Оршад, лимонад,
Яблочки, стручочки
В каждом уголочке,
Семечки, разный квас,
Все, что хочешь, есть у нас!
По вечерам ко мне девицы ходят
Купить за пятакоч десяток папирос.
Покурят, да кого-нибудь захороводят,
Да и уйдут под липкий стук колес.
Поехали на кляче.
Дай им бог удачи!
Бьется в стекла фонаря

Мутный дождик октября,
По лужам стрекочет,
Православных мочит.
Я сижу под полотном,
И мне дождик нипочем.
Ко мне ходила в черном полушалке
Дуняша-горничная время коротать.
Я угощал ее всем, чем ни жалко,
То винограду дам, то яблочек штук
пять.

Дуняша, Дуняша,
Где ты, радость наша?
Девки соблазнили,
Девки утащили,
Девки доконали,—
Лежишь ты в канале!
И с Петровского поста
Я теперь сирота.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОРОЖЕНЩИК

Когда среди прибитой пыли
Звенят звонки, гудят рожки
И хрипло рвут автомобили
Застойный воздух на куски,
Когда несется лентой красной,
Гремя и лязгая, трамвай
И, в камни втиснут волей властной,
Полузадушен вольный май,
Когда ты городом стреножен
И придавили камни грудь,
Как странно слышать крик: «Марожин!»
На Петербургской где-нибудь.

Глухой, прикрытый странным зудом,
Он точно жалкий скрип дверей
В зверинце, где каким-то чудом
На миг прорвется рев зверей.
Я почему-то, сам не знаю,
Но не для прелести стиха,
Его услыша, вспоминаю
Крик молодого петуха.
И каждый раз, услышав окрик,
Я вынимаю нáзло всем
Пятак и пару вафель мокрых
С мороженым соленым ем.

* * *

Я бродил по улицам крикливым,
Я искал в вечерней желтизне
Чьих-то глаз, молящих о весне,
Чьих-то глаз с серебряным отливом.
И, когда прозрачная вуаль
Мне сулила вздохи наслаждений,

Я считал истертые ступени,
И ласкал, и снова видел даль.
И опять по улицам крикливым,
В темных ртах визгливых кабаков,
Я искал неуловимых снов,
Чьих-то глаз с серебряным отливом.

БУЛАВКИ

Французскими булавками
Торгует мальчонка.
Кричит он звонко
С прибавками да с приставками:
«Французские булавки,
Лавки-булилавки,
Шесть штук за копейку,
За дюжину — две!»
Проходят мимо прохожие,—
Барышни, девушки пригожие,
Купцы, дворяне, рабочие,—
В полном сосредоточии
На мальчонку не взглянут —
Сами по себе вянут.
«Французские булавки,

Лавки-булилавки,
Шесть штук за копейку,
За дюжину — две!»
Проходила мимо красотка.
Посмотрела на нее мальчонка
И вздохнул так тихо и кротко
Огорченным вздохом ребенка.
Пожалела мальчонку красотка,
Стала с ним торговаться —
Хоть булавки его — не находка,
Все равно, пригодятся.
Обомлел мальчонка
сконфуженно —
Уступил за копейку дюжину!

НА ЛЕСАХ

На леса забираюсь шажком —
Давит плечи тяжелая ноша...
Трое нас, я, да дядя Пахом,
Да блаженный Антоша.
Вот ползем по лесам с кирпичом,
Гнутся спины у нас колесом,
Давит плечи тяжелая ноша.
По дощечкам-то зыбко ступать —
Гнутся, тяжести нашей бояться...
Эх, умеючи, долго ль сорваться!
А сорвешься — костей не собрать.
Э, да нам ли о том вздыхать!
Э, да нам ли смерти бояться!
Все равно, однорядь, помирать!

Ходишь, носишь до пятого поту,
Проберет — хоть в могилу ложись...
А как влезешь на самую высь,
Да как глянешь с орлиного лету
На дымки, что к небу взвились,
На дома да на крыши без счету,—
Позабудешь утому-заботу
И возьмешься опять за работу.
Больно даль-то она хороша —
Купола, да кресты, да балконы...
Ветерок набежал, и, хоша
По лесам ты взойдешь запыленный,—
Ясной осени воздух студеный
Пьет из полной пригоршни душа —
И такой-то вдруг станешь ядреный!

ВЫБИРАЯ СВОЮ СТРАНУ

В древности человеку на каждом шагу попадались чудеса. Недостаток жизненного опыта побуждал язычников верить глубоко и необузданно, стихийно. Их мир был населен множеством богов и мифологических существ, таинства и причуды которых не казались людям чем-то сверхъестественным, а были как бы частью их обычной жизни. В наше время такое возможно, пожалуй, только в искусстве, что и произошло с поэзией Маргарет Этвуд, удивительного художника и человека, обаятельной и своеобразной женщины. Заменяв наивные восторги древних выразительной лаконичностью, она наполняет свой внутренний мир нетрадиционными сочетаниями предметов и явлений, видоизменяя и переименовывая их по своему усмотрению. И в результате каждое ее поэтическое «сооружение» оказывается не только нетривиально, но красиво и уравновешенно, и притом осмысленно, хотя вроде бы и непонятно, как и на чем оно держится. Ничего ни с чем не сравнивая, не пытаясь искать возвышенное в простых и обыденных вещах, М. Этвуд предлагает нам поступать наоборот и узнавать в сложном — простое, в необыкновенном — естественное, в отвлеченном или фантастическом — земное и гармоничное. В этом главная особенность и прелесть ее поэтического видения.

По форме стихи Этвуд — верлибр. Но сказать про современного западного поэта, что он пишет верлибром, — так же мало оригинально, как сообщить, к примеру, что он ходит в джинсах. Свободный стих удобен, естествен для его духовной организации. Приятно, однако, что у Этвуд свободный стих свободен не анархически: в нем есть внутренняя логика, придающая каждому отдельному стихотворению законченность, а творчеству в целом — авторский стиль. И это свойство уже нельзя считать традиционным для большинства современных поэтов, а лишь для тех из них, применительно к которым слово «поэт» приобретает свой первозаданный смысл.

Маргарет Этвуд родилась в 1939 году в Оттаве и постоянно живет в Канаде. Эта страна — ее родина, ее гордость и боль, ее любовь и отчаяние, ее надежда, ее будущее, ее судьба. Окончив Викторианский колледж, входящий в состав Торонтского университета и являющий собою смесь буржуазного либерализма и аскетической религиозности,

М. Этвуд целиком посвятила себя творчеству. В 27 лет она опубликовала первый сборник стихов и сразу получила за него литературную премию. Второй сборник вышел через два года и тоже победил в поэтическом конкурсе. После этого ею было опубликовано еще семь книг (стихов, четыре романа, один из которых вышел недавно в Ленинграде (впервые на русском языке) под названием «Лакомый кусочек» (изд. «Худ. лит.», 1981, пер. Н. Толстой), а также сборник рассказов и ряд критических работ, в том числе введение в канадскую литературу для колледжей. Маргарет Этвуд очень популярна в своей стране, и, как пишет журнал «Иностранная литература», современная критика единодушно называет ее вместе с Элом Парди крупнейшими канадскими англоязычными поэтами сегодняшнего дня. М. Этвуд — одна из немногих канадских литераторов, чье имя и книги известны за пределами ее страны, их переводят и обсуждают на разных языках. По словам журнала «Canadian Forum», М. Этвуд «как неистовая мистическая фигура, врывается в слишком упорядоченный, слишком чистый современный мир и сражается с ним, как поджигатель».

И вместе с тем М. Этвуд любит свою Канаду, такую молодую и старую, цивилизованную и дикую, свободную и зависимую одновременно. Эта раздвоенность, выросшая у ее соотечественников до масштабов национального характера, вынуждает Этвуд признаться, что на канадской земле человек чувствует себя изгнанником и оккупантом, даже если он здесь родился. Вместе с героинями своих произведений Этвуд приветствует прогресс цивилизации, но при этом ненавидит «американизм», то есть роботизацию и бездушную жестокость, порождаемую этим прогрессом. «Нужно выбрать эту страну или уехать», — говорит она — и выбирает. Выбирает эту раздвоенность и эту землю, где «человек экономит в своем доме и безжалостно грабит и загрязняет природу, уродует ее точно монстр или раковая опухоль, созданная природой по ошибке» (Нортроп Фрай).

МАРГАРЕТ ЭТВУД

* * *

Ты отказываешься
распоряжаться собой,
уступая себя другим,
медленно растворяясь в общественном мнении.
Через год от тебя не останется ничего,
кроме рупора.

Ты выдохнешься через крышку,
как мнимая власть
официального кабинета,
синий, как полисмен, серый, как истраченный ангел,
все менее чувствуя разницу между
божьим даром и талоном на парковку автомобиля.

Или тебя протащит под дверью
твоя кожа в скользкой чешуе
гашеных марок, да твои поцелуи, в которых
вдохновение сменилось пунктуальностью.

Если же ты попробуешь
выскочить из униформы,
вернуть себя, то в будущем

величественное сменится печальным, смерть придет раньше
(ибо немислимо более
оставаться и живым, и человеческим), и вот уже в куче
с другими твое лицо и тело,
густо изрезанное рубцами,
со сквозными ранами глаз.

ПОЕЗДКА В ТОРОНТО, В СОПРОВОЖДЕНИИ

Новые улицы,
новый порт;
желтеет прибежище лунатиков.

Там, на первом этаже,
женщины сидят и шьют;
они смотрят кротко и печально,
отвечают на наши вопросы.

На втором этаже
женщины припадают к земле,
бьются, кричат, иступленно срывают с себя одежды;
на нас они мало обращают внимания.

На третьем этаже
я прошла через стеклянную дверь
и увидела нечто иное:
каменистый холм, и деревья, и никаких домов.
Я села, теребя перчатку.

Этот пейзаж был живым, он что-то говорил мне,
но я не могла разобрать слов.
Одна из скал вздохнула и повернулась.
Надо мной на уровне глаз
протянулись три лица.

Они хотели, чтобы я ушла,
туда, где улицы и порт,
но я замотала головой.

Здесь не было облаков, только
нестерпимо-красные цветы выстреливали
среди сухих камней.

Кажется, этот воздух поможет мне
наконец во всем разобраться.

УТРО

Мы не могли спать и вышли,
поначалу почти ничего не видя;
за нами поднялось солнце,
белое и холодное,
указывая путь ветру.

Впереди были невысокие холмы,
желто-серые травянистые дюны,
а потом горы: тяжелые,
морщинистые, не прикрытые облаками,

ранний свет ужесточал их старость
и выкрикивал молодость.

В заброшенной машине
мы ели апельсины и хлеб,
держа их скрюченными пальцами.

Мы оказались здесь впервые,
но невозможно было этому поверить.

* * *

Упорство надежнее
правды быть
мхом, карликовым деревом,
вцепиться в скалу, опровергая
земную тяжесть, и верить
лживому солнцу

или, как этот кактус,
съежиться в себе
и воевать с песком. Грубая
кожа, колючки, вот и
все, что он может.

Вступительная статья и переводы
с английского Нины Искренко

* * *

Деснос был из тех поначалу чуть ли не комических фигур, которые вдруг превратились в легендарных зачинателей французской литературы XX века («не календарного», разумеется). Да и судьба его двигалась если не от комедии чистой, то по крайней мере от трагикомедии к трагедии. От литературных скандалов, на которые он и его друзья Арагон, Элюар, Бретон были большими мастерами, до гибели в немецком концлагере.

Впрочем, скандалы — это всего лишь поверхность явления. Раскат грома мало что говорит о природе молнии. А вспышка «измов» (названия им, кстати, часто придумывали не их творцы, а газетчики), которые взорвали гармонию литературного процесса, правда уже поколебленную декадентами, оглушила многих, и надолго. Казалось бы, одновремен-

ность и всемирность сходных явлений ясно указывали на их неслучайность. Однако долго еще все «измы» скопом считались единым историко-литературным казусом. Не все, конечно, так считали, но многие. Возможно, громче других прогремел сюрреализм — пожалуй, последний из великих «измов» начала века.

В сознании потомков из всех «легендарных» Деснос едва ли не самый легендарный. Возможно, тому причиной его трагическая судьба. Возможно и то, что он в не меньшей степени стал олицетворением сюрреализма, чем сам «папа» Бретон. Все же сюрреализма, хотя был еще и другой Деснос — 30-х годов, а потом борющийся, ненавидящий Деснос — 40-х, эпохи Сопротивления...

РОБЕР ДЕСНОС

1900—1945

ПОД ИВАМИ

В горящей клеточке диковинная птица
Провозглашаю что я дровосек стального леса
что никому не удалось понять ни выдру ни куницу
диковинная птица что свивая крылья озаряется
Внезапной вспышкой бенгальские огни околдовали твою речь
Когда я покидал тебя и плечи и любовь они окрашивали красным
Хмельные четверть часа
украшенные лучше дальних декораций
до хруста пальцев алебастровых
простерли руки
В положенное время все придет
к прозрачности такой же полной
как вольер где вьются птичьи перья
Дуб пресловутый высится над миром
с повешенными на своих ветвях
благодаря корням ушедшим в глубь земли
Вот день который я наметил
Пылающий кинжал сразил диковинную птицу
в огне объятый клетке и железный лес
трепещет в свете умерших левкоев
Тебя я схоронил в подлеске объявившем
себя властителем долины

СМЕРКАВШИЙСЯ ДЕНЬ

Он ускользнул на дно реки
Эбеновые камни золотая нить и крест неразветвленный
Вокруг пустынно
Как водится причиной моей ненависти к ней моя любовь
Мертвец дышал могучими порывами пустот

А циркуль все вычерчивал квадраты
и треугольники на пять сторон
Потом он опустился на чердак
Полуденные звезды блещут в небе
Охотник брел с ягдташем полным рыбы
на берег посередке Сены
И дождевой червяк на линии окружности
отметил центр круга
В полнейшей тишине мои глаза вещали громогласно
Итак проталкивались мы через толпу в пустой аллее
Когда ходьба нам даровала отдых
решились мы присесть
потом прикрыли веки пробуждаясь
и тут рассвет на нас пролил ушаты ночи
И дождь нас высушил

СМЕРКАЕТСЯ

Лишь только захоти и ты вольна уйти
Постель закатывается и расшнуровывается
с блаженством будто черный бархатный корсет
Блестящая букашка села на подушку
И взорвалась сливаясь с Темнотой
Вал накатив на берег замолкает
Прекрасная Самоа дремлет в вате
Что ж сотворил ты со знаменами обвал?
Их вывалял в грязи
Счастливая звезда живет в любой грязи
Я пересказываю сон
Я ночь переливаю в склянки
и расставляю их на полке
Смешался щебет птах с бесчинством дровосека
и стал прогалиной
Ни с места тронуться ни умереть чрезмерно много радости
Случайный сотрапезник за столом
на просеке зеленых изумрудов гулких шлемов
в соседстве с грудой шпаг и ржавых лат
А во влюбленной лампе волосок раскручивается
с приходом сумерек
Я сплю

Вступительная заметка и переводы с французского
Александра Давыдова

МИХАИЛ КУДИНОВ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПАРОДИИ

Как известно, для литературной пародии вполне достаточно двух действующих лиц: пародиста и пародируемого. В истории, о которой у нас пойдет речь, оказались замешаны еще два персонажа, хотя один из них к литературе имел отношение весьма отдаленное, а другой — никакого. История эта произошла в Париже в начале XVII века.

Сперва о главных ее участниках. На первом месте — официальный поэт королевского двора, законодатель нарождающегося классицизма Франсуа де Малерб. Родом он был из Нормандии и упорно утверждал, что, несмотря на свой тощий кошелек, является потомком знатных феодальных сеньоров. В Париже он окончательно обосновался будучи уже пожилым человеком.

Второе действующее лицо — поэт-сатирик Пьер Бертело. О его биографии историкам литературы почти ничего не известно, предполагают, что он был выходцем из социальных низов. Печатался Бертело в коллективных сатирических сборниках и даже фигурировал в списке литераторов, привлеченных к суду и приговоренных к смертной казни за участие в одном из таких изданий, против которого ополчились иезуиты. Но, кажется, Бертело к тому времени уже успел умереть своей смертью.

Итак, Малерб писал по заказу двора торжественные оды, прославляющие победы королевской власти над внутренними и внешними врагами; упорно насаждал правила, регламентирующие французское стихосложение (впоследствии эти правила более двух столетий считались обязательными для французской поэзии), и, беспощадно критикуя своих предшественников — Ронсара и Депорта, — стремился очистить и сузить поэтический словарь.

Справедливости ради следует сказать, что Малерб был крупным поэтом, а в его реформе были и свои положительные стороны. Пройдет время — и далекие потомки смогут беспристрастно все это оценить; современники же относились к Малербу по-разному: одних он восхитил, у других вызывал неприязнь и раздражение, особенно у поэтов-сатириков; по их мнению, его доктрина посягала на свободу творчества. Матюрен Ренье, самый известный и талантливый из них, так писал о Малербе и его последователях:

Умеют лишь одно: с усердием большим
Вычеркивать слова, что не по вкусу им,
Следя, чтоб гласная с дифтонгом не встречалась,
Чтоб рифма женская с мужской чередовалась
И чтоб две гласные, коль рядом ставят их,
Порой не делали излишне вялым стих;
А мысль, что скрыта в нем, значенья не имеет...

Малерб этот выпад Матюрена Ренье оставил без ответа. Пародия Пьера Бертело имела, увы, другие последствия.

Малерб, как человек, связанный с высшим обществом, посещал аристократические литературные салоны, которые к тому времени начали входить в силу и могли способствовать его литературному успеху. В салонах этих царили особые нравы. Например, полагалось посвящать избранной даме стихи, написанные в прециозном стиле (который, кстати сказать, явно противоречил духу классицизма). Одно время такой избранницей Малерба была виконтесса д'Оши, хозяйка литературного салона, женщина знатная и образованная. Внимание первого поэта Франции льстило ее самолюбию и ничем не угрожало ее репутации: все это было литературной игрой и к подлинным чувствам не должно было иметь никакого отношения.

Малерб посвятил виконтессе несколько стихотворений; одно из них, написанное в 1606 году, начиналось такими словами:

Признать, что и другие чтимы,
Признать, что и они любимы,
Все это можно без труда;
Но чтобы красоты их сила
Вас, чудо из чудес, затмила,
Так не бывает никогда.

Далее следовало еще шесть строф (в которых третья и шестая строка неизменно повторялись), и все их содержание сводилось к манерным любовным признаниям и к неумеренным восхвалениям достоинств той, кого автор окрестил «чудом из чудес». Стихи, в общем, ничем особенно не отличались от подобных же образчиков прециозной поэзии. Вряд ли на них обратили бы внимание, не будь они написаны самим Малербом. И Бертело откликнулся на них пародией. Все, что воспоследовало за этим, запомнилось современникам и стало достоянием историков литературы. В пародии был нанесен двойной удар: и по мужскому самолюбию автора, и по его литературным амбициям. Пародист припомнил ему и несколько пренебрежительное отношение к античным классикам, и то, что писал он свои оды очень медленно (ибо тщательно их обрабатывал), и его настоятельное требование писать по установленным им самим правилам. Несколько неясно обвинение в «переводах с испанского». Малерб с иностранных языков не переводил, а прециозная поэзия ориентировалась на итальянские образцы. Видимо, тут имеет место какой-то намек, не очень нам понятный. Вот несколько строф из этой печально-знаменитой пародии:

Казаться пылким и влюбленным,
Преподнести стихи с поклоном —
Все это можно без труда;
Но стать юнцом из старикашки,
Чтоб с дамою не дать промашки,—
Так не бывает никогда.

Твердить, что первый ты по силе,
Что слаб Гомер и плох Вергилий,—
Все это можно без труда;
Но с ними выдержать сравненье,
Представив нам свои творенья,—
Так не бывает никогда.

Свой проявляя дух геройский,
Испанцев обирать по-свойски —
Все это можно без труда;
Но чтобы переводы эти
Когда-нибудь талант отметил,—
Так не бывает никогда.

Шесть лет писать все ту же оду,
Свой вкус навязывать народу —
Все это можно без труда;
Но чтоб с конца или с начала
Нас «чудо из чудес» пленяло —
Так не бывает никогда.

Малерба эти стихи привели в ярость. Решив продолжить полемику уже не на литературной почве, он обратился за помощью к своему земляку, некоему дворянину Ла Булардьеру. И дворянин этот распорядился так, как от него, видимо, и требовалось: жестоко избил палкой бедного пародиста.

Обиделась на пародию и виконтесса д'Оши и тоже приказала избить Бертело. (Кто взял на себя исполнение этой второй экзекуции, история умалчивает.) Ответить обидчикам тем же способом пародист в силу своего низкого социального положения не мог. Пришлось ему довольствоваться тем, что он написал эпиграмму на жестокосердную виконтессу. Но, видимо, под влиянием боли и обиды эпиграмма в ее словесном выражении настолько вышла за рамки приличия, что историки литературы предпочитают ее не цитировать. Так же как не цитируют они и весьма грубое четверостишие Малерба, которое он написал, разрывая свои галантные отношения с виконтессой. Видимо, играть в литературные игры с неприступной дамой ему до смерти надоело: не такой у него был темперамент. Еще задолго до разрыва он, нарушая все правила игры, всерьез приревновал виконтессу к какому-то господину и нанес «чуду из чудес» оскорбление действием: дал ей пощечину, а потом чуть ли не на коленях вымаливал у нее прощение. Все это выглядит на наш современный взгляд несколько странно: с одной стороны — литературные салоны, галантность, прециозность; с другой — рукоприкладство и непристойные словесные выпады. А в итоге дважды избитый поэт-пародист; околелитературная дама, которую дважды ославили в крайне нелестных для нее выражениях; и знаменитый поэт, которому вся эта история несколько не прибавила славы. Не внакладе оказался только нормандский дворянин Ла Булардьер: благодаря своим кулачным (вернее, палочным) подвигам он спас свое имя от полного забвения. Иначе кто бы знал, что жил такой человек на земле?

парнас, пегас и кое-что про нас



Рис. М. Добужинского

ИРОНИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

СЕРГЕЙ БЕЗЛЮДСКИЙ

ДОСУЖЕМУ ТАЛАНТУ

Не тверди, что ты благ и духовен,
Приводя свой невроз как пример.
Если б каждый, кто глух, был

Бетховен!

Если б каждый, кто слеп, был Гомер!

Оставайся простым человеком.

Отправляйся-ка лучше домой...

Если б каждый урод был Лотреком!
Или Байроном — каждый хромой!

Пусть ты любишь в мечтательной
сени

Счет вести неудачливым дням,

Но не каждый рязанец — Есенин,
Как не каждый пьянчуга — Хайям...

Правда, все мы ничуть не жалеем
О несбыточно-дивном былом, —
Что не каждый певец был Орфеем
Или просто имел бы диплом.

Хоть отраднo от сладкого сна

нам —

Только в жизни такое претит:

Если б каждый лимон был

бананом, —

У людей бы пропал аппетит.

В ЦИРКЕ

Вчера я видел (многие не верят),
Как укротитель плетью льва стегнул,
И, лежа, умолял большого зверя,
Чтоб тот через него перешагнул.

Кричит: «Шагай!» А публика хохочет!
И начал укротитель зверя бить.
А лев перешагнуть его не хочет.
Ему противно рядом даже быть...

Хлопок бича ко льву пришелся
ближе,
И зверь, рыча, послушался кнута.
И зверь прошел как по навозной жиже,
Подняв брезгливо кисточку хвоста.
Опять приказ без всяких сантиментов,
И бич над ухом щелкает опять,
И бедный лев под гром
аплодисментов
Детину с плеткой должен «целовать».
«О, нет! — подумал лев.— За
что же это?!

Чего он хочет, этот майский жук?!
Ходячий фарш! Двуногая котлета!
Ты мне попался в Африке бы, друг!
Но я в плену, и, верно, час мой
близок!
Придется пошершавить языком
Твой рот, пропахший запахом
сосисок,
Разящий коньяком и табаком!..»
И зверь лизнул артиста в щеку мило,
И скрылся за кулисой под финал.
Потом от отвращения льва стошнило,
А укротитель даже не узнал.

ВЛАДИМИР ВЕДЯКИН

* * *

Марью Ивановну замучила икота.
Марье Ивановне свет был не мил.
Вспоминал ее, видимо, кто-то
и при этом нещадно бранил.

Марья Дмитриевна тоже икала.
У нее началось колотье.
Марью Ивановну она вспоминала,
ну а та —
вспоминала ее.

И в отчаянной этой дуэли
вскоре выбились обе из сил.
И не пили они,
и не ели,
но пощады никто не просил.
Им обоим было страшно и больно.

Но к чему их теперь упрекать?
Смерть пришла и сказала:
«Довольно!»
Навсегда перестали икать.

Я задумался в глубокой печали,
так задумался,
что чуть не уснул.
Тоже люди ведь,
тоже икали.
Лишь подумал
и громко икнул.

ЗЛОДЕЙ

**Не со зла
я вам сделал зло,
мне при жизни
всегда везло.**

Валентин Попов

Зло вам сделал я
Не со зла —
Просто блажь
На меня нашла,
Просто встал я
Не с той ноги,
И пришлось мне
Вредить другим.
Понимаю,
Что был не прав,
И кляню
Свой ужасный нрав.

Я покаяться вам
Спешу,
И не злите меня,
Прошу,
Не волнуйте
Мое нутро —
Лучше сделайте мне
Добро,
А не то
Натворю дела:
Зло вам сделаю...
Не со зла.

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

**Есть корешки, есть корни, есть коренья,
Есть корневища...**

Александр Попов

Считаю, каждый должен знать про это:
В литературе люди не равны.
К примеру, есть поэтищи, поэты,
Поэтишки...

Поэтищ изучают поколенья,
Поэтов книголюбы достают,
Поэтишек читает население,
А писунов — тех просто

и просто — писуны.

издают.

ЕФИМ САМОВАРЩИКОВ

О ЧАСАХ

**Мы часы не подвели,
А они нас подвели.**

ФИЛОСОФСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Заходя в инстанцию,
Соблюдай дистанцию!

* * *

Ты сам свой высший суд...

А. Пушкин

Вновь сам свои стихи ты судишь беспристрастно
И видишь, что они написаны прекрасно!
Но все же никогда не забывай о том,
Что судишь ты себя не пушкинским судом.
Хотя в душе твоей восторг и торжество,—
Твой суд
 не превзошел таланта твоего.

* * *

Не слишком дорогой ценой,
Почти что без помех,
Осуществляя ты путь земной
С расчетом на успех.

Тебе, конечно, повезет,
Добьешься своего.
И оправдается расчет.
Но больше ничего.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Растут любители верлибра,
Притом различного калибра:
От дебютанта безымянного,
До Бурича и Куприянова!

* * *

Бессмертна та великая строка,
Но суждено ей ныне обновиться:
— Учитель, воспитай ученика,
Чтоб было с кем потом опохмелиться!

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

В твоих книгах — сплошной бедлам!
Мы не ведаем, что творим:
ты идешь по чужим стопам,
я иду по стопам твоим.

ВОСПОМИНАНИЕ

Я вспомнил про надутого писаку,
что каждый день выгуливал собаку.
А та, совсем не ведая про это,
выгуливала данного поэта.

О ДРУГЕ

Я с грустью думаю о друге,
махнувшем шапкой с корабля.
Он где-то на Полярном круге,
а с ним — и три моих рубля.

НАБЛЮДЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ТВОРЧЕСКИХ КОМАНДИРОВКАХ

* * *

Есть в Нидерландах город Амстердам,
в котором очень много милых дам.

* * *

В Гренландии ко мне подплыла льдина —
и вспомнилась мне официантка Дина.

* * *

Мой друг, откушав возле Ниццы рыбки,
зарифмовал верлибры по ошибке.

* * *

В Валенсии, попавши на корриду,
я вспомнил про свою соседку Лиду.



Рис. Н. Кузьмина

ОТКРЫТЫЙ УРОК НАЧИНАЮЩИМ ПАРОДИСТАМ

Несколько заповедей:

1. Не умеешь писать стихи — пиши пародии, ибо нет ничего проще и престижней;
2. Помни, что даже не читающие стихов, пародии читают;
3. Пародируемое произведение никогда не читай внимательно, ищи к чему прицепиться (чаще всего это строка или пара слов);
4. Старайся вызвать животный смех у читателя любой ценой: приписывай автору что в голову взбредет, все равно проверять никто не станет;
5. Пиши, совершенно не заботясь о воспроизведении стиля автора — т о й читатель его никогда не читал и читать не будет;
6. Не робей! Пародии пишутся быстро, а платят за них как за стихи, иногда даже больше...

Наглядные примеры того, как, прицепившись к одной строке, можно создать пародию:

КРЕДО

Я пил из черепа отца...
Ю. Кузнецов

Писать по преимуществу про змей,
Читателям чтоб было не до смеха,
Весомо полагая — чем страшней,
Тем ближе до желанного успеха!

Себе не изменяя до конца,
Не ведая печали и кручины,
Считать питье из черепа отца
За признак настоящего мужчины!

ХОЧУ ГЛАСНОСТИ!

Я чокнутый, как рюмочка в шкафу...
А. Кушнер

Весь интерьер: софа́, камин и шкаф,—
Я этим недоволен в полной мере,
Кричу, чтоб вынули! Поэтому я прав,
Когда пишу стихи об интерьере.

Пройду к камину, лягу на софу́.
Софу́ с камином спутаешь едва ли...
Я чокнутый, как рюмочка в шкафу,—
Мне хочется, чтоб все об этом знали!

НЕ ПОСЛЕДНЯЯ МИЛОСТЬ

И посыплются милости с неба...
Н. Старшинов

Полагая нередко: и мне бы!
В жизни радостей ждал я давно.

И посыпались милости с неба —
Кто-то выбросил фикус в окно.

И горшок вместе с почвой столетней
Об асфальт расколослся, звеня.

Эта милость была не последней —
Ведь она не попала в меня!

Можете продолжать самостоятельно, взяв за основу любую подходящую строку...

ПОЭТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЕФИМА САМОВАРЩИКОВА

ВКУС (а также пристрастие) — для людей, занимающихся литературным трудом, необходимо отличать **ВКУС** эстетический (способность человека к различению и оценке эстетических явлений в сфере жизни, искусстве, семье...) от **ВКУСА** физиологического (ощущение, возникающее при воздействии растворимых веществ, расположенных главным образом в ресторане ЦДЛ, на рецепторы, расположенные главным образом в языке). Смешение этих понятий может привести к созданию произведений, отмеченных неповторимой слитностью духовных и физиологических субстанций:

Кому-то побольше бы мяса и тела,
А мне огурец — это первое дело.
Ничто не заменит зеленый огурчик,
Его я считаю закуской могучей.

Сильно развитое чувство **ВКУСА** слова является гарантией рождения непревзойденных образцов поэзии:

Снова я узнаю
тобою, твоею разлукой, проложенной в памяти сердца.
Тихие узы
чувствую с днем восходящим и к дню я взываю: «Не серься».

ВКУС является необходимым стимулом для рождения поэтических произведений, что явственно доказывают строки молодого стихотворца:

И, раскаленно дыша в полете,
плоть человека, плоть корабля
соединились в единой плоти,
в едином крике: «Живи, Земля!»

ДАР (творческий, он же — божий) — высокая степень талантливости в своем роде. **ДАР** можно найти (обрести) либо потерять:

В магазин со своей стеклотарой
он доплелся — и вот вам удар:
водки нет! И стоит он, нестарый,
потерявший свой творческий дар.

МОЦАРТ Вольфганг Амадей — австрийский композитор, создавший наряду с операми «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро» 50 симфоний. При жизни, следуя моде, носил камзол, башмаки с пряжками, рукава в кружевах.

Последнее обстоятельство, видимо, привлекает к нему взоры современных поэтов. Общение с Моцартом современных литераторов принимает разнообразные формы. Наиболее распространенной принято считать форму подачи советов маэстро, производимую под музыкальный аккомпанемент:

Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба то гульба, то пальба.
Не оставляйте старанья, маэстро,
не убирайте ладони со лба.

Нередко общение с МОЦАРТОМ переходит в легкую дружбу и теплые приятельские отношения:

Нам нежность нелегко дается,
Она как будто не для нас.
...Спасибо, друг, спасибо, Моцарт,
Что слезы брызнули из глаз.

Отдельные литераторы предпочитают в общении с МОЦАРТОМ форму ЗАПАНИБРАТСТВА (см. «Поэтический словарь Ефима Самоварщикова», альманах «Поэзия» № 32), создавая строки высокой экспрессии чувства и ненавязчиво намекая на знакомство с композитором, позволяющее быть с ним на «ты»:

О, люблю твою музыку, чародей...
Ты меня обрекаешь на муку,
Амадей!
Сколько страсти! Какая глубокая синь!
Это — скрипка твоя, это — твой колдовской

клавесин.

УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ (художественная) — умение доказать читателю, что все написанное поэтом имело место быть в действительности. Путем строгих умозаключений поэты могут добиваться плодотворных результатов, представляющих не только художественный, но и социально-экономический интерес:

Нет! Слава — не цветы, не снимки,
А честь, когда признал народ,
Когда сдаешь в ремонт ботинки,
А мастер денег не берет.

**Поэзия: Альманах. Вып. 40.— М.: Мол. гвардия,
П 67 1985.— 223 с., ил.**

1 р. 20 к. 100 000 экз.

Номер открывается заметками Ярослава Смелякова о молодой поэзии. В разделе «Всегда в строю» представлены стихи участников Великой Отечественной войны. В постоянной рубрике «Всегда в пути» читатель встретит знакомые имена поэтов В. Шефнера, А. Жарова, Г. Горбовского, Ф. Сухова, А. Балина, М. Квливидзе и другие. В разделе «Наши публикации» читатель познакомится с неопубликованными материалами И. С. Аксакова, И. Эренбурга, Саши Черного, Петра Потемкина. Завершается номер традиционными разделами «Из зарубежной поэзии» и «Парнас, Пегас и кое-что про нас».

П 4701000000—012 205—84
078(02)—85

**ББК 84(0)6
СБ1**

ИБ № 3716

ПОЭЗИЯ. Вып. 40

Редакторы **Н. Старшинов, Г. Красников**

Художественный редактор **Б. Федотов**

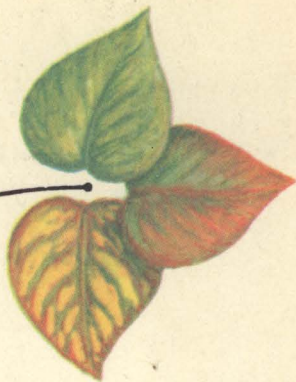
Технический редактор **Е. Михалева**

Корректоры **Е. Дмитриева, В. Назарова, Г. Василёва, И. Ларина**

Сдано в набор 03.04.84. Подписано в печать 17.12.84. А08265. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Журнальная рубленая». Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,0. Усл. кр.-отт. 28,48. Уч.-изд. л. 14,9. Тираж 100 000 экз. Цена 1р. 20 к. Заказ 266.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцневская, 21.

1 р. 20 к.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ